



---

**уральский**

---

**следопыт**

---

**№8 \*\*\* 1975**



## Бронзовый уродец

Вещи имеют свои судьбы. Прежде чем попасть в витрину музея, они проходят немалые пути и во времени, и в пространстве. Многие из них могут рассказать увлекательные истории.

Одно из таких изделий безвестного мастера, достоверно повествующее о своей эпохе, экспонируется в Донецком областном краеведческом музее. Изделие представляет собой небольшую — высота 25 сантиметров, вес 180 граммов — бронзовую скульптуру нагого мужчины, стоящего во весь рост. Найдена была скульптура близ поселка Новозарьевка Старобешевского района Донецкой области.

Несмотря на скованность позы и на непропорционально короткую фигуру скульптура мужчины эмоционально выразительна.

Долгое время ученые не могли установить назначение этой фигурки, время и место ее изготовления. Лишь недавно кандидат исторических наук, археолог В. П. Даркевич, исследуя забавного уродца, определил, что бронзовая скульптура представляет собой основание алтарного подсвечника. Дело в том, что у фигуры на темени имеется прямоугольное отверстие, указывающее на служебное назначение ее. В отверстие вставлялся стержень с острием для насаживания свечи и круглой чашки для стекающего воска.

Подобные изделия известны среди немецкой литургической утвари конца XII — начала XIII веков. Особенно развито было бронзолитейное искусство в саксонском городе Гильдесгейме.

К кругу нижнесаксонских изделий и относится алтарный подсвечник из Донецкого музея. Любопытно, что он отлит по способу с «потерей восковой модели» и, следовательно, в единственном экземпляре.



ОЛЬГА ПРИВАЛОВА

# В номере:

Э. Бадьева ПЕТЬКА ТЕРЕХОВ ЕДЕТ НА БАМ. Повесть . . . . .	3
СЛЕДОПЫТСКАЯ ХРОНИКА . . . . .	13
А. Корабельников ШЛЕМ ТАНКИСТА . . . . .	14
В. Калишев КЛИМАТИЧЕСКИЕ РЕКОРДЫ УРАЛА . . . . .	16
М. Поповский ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ УЧЕНЫМ! . . . . .	17
СИГНАЛ-СБОР! . . . . .	25
СТИХИ ЛЮДМИЛЫ ТУМАНОВОЙ . . . . .	26
А. Никитин НЕБО ОТКРЫЛИ ПОЭТЫ . . . . .	28
Ю. Липатников ЧИСТОЕ ДЫХАНИЕ ЗАВОДА . . . . .	30
Ю. Файбышенко В ОСАДЕ. Приключенческая повесть . . . . .	32
В. Колупаев СПЕШУ НА СВИДАНИЕ. Рассказ . . . . .	54
КАЛЕЙДОСКОП . . . . .	61
Н. Широкова БЫЛ БЫ ЗАВОДИЛА . . . . .	64
А. Матвеев «ВЕСЕЛАЯ» ТОПОНИМИКА . . . . .	67
И. Полуянов МОЙ РАЗНЫЙ ЛЕС. Рассказы . . . . .	69
МИР НА ЛАДОНИ . . . . .	78

**Редакционная коллегия:**  
Станислав МЕШАВКИН  
(главный редактор),  
Муса ГАЛИ,  
Алексей ДОМНИН,  
Спартак КИПРИН,  
Борис КОЛЕСНИКОВ,  
Владислав КРАПИВИН,  
Юрий КУРОЧКИН,  
Давид ЛИВШИЦ  
(заместитель главного  
редактора),  
Геннадий МАШКИН,  
Николай НИКОНОВ,  
Анатолий ПОЛЯКОВ,  
Лев РУМЯНЦЕВ,  
Константин СКВОРЦОВ,  
Игорь ТАРАБУКИН  
(ответственный секретарь),  
Владимир ТРУСОВ.

Художественный редактор  
Маргарита ГОРШКОВА,  
Технический редактор  
Элла МАКСИМОВА,  
Корректор  
Майя БУРАНГУЛОВА.

**Адрес редакции:**  
Индекс 620219  
Свердловск, ГСП-353,  
ул. 8 Марта, 8  
Телефоны 51-09-71, 51-22-40

Рукописи не возвращаются  
Сдано в набор 23/IV 1975 г.  
НС 21248.  
Подписано к печати 13/VI 1975 г.  
Бумага 84×108<sup>1/16</sup>.  
Бумажных листов 2,62  
Печатных листов 8,8  
Учетно-издательских листов 10,5  
Тираж 275 000.  
Заказ 225.  
Цена 30 коп.  
Типография издательства  
«Уральский рабочий»,  
Свердловск, пр. Ленина, 49.

1-я стр. обложки — рис.  
Е. СТЕРЛИГОВОЙ.  
Оформление 2-й стр. обложки  
Р. КАПТИКОВА

© «Уральский следопыт», 1975 г.

ЛИТЕРАТУРНО-  
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ  
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ  
ДЛЯ ДЕТЕЙ  
И ЮНОШЕСТВА

ОРГАН  
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ  
РСФСР  
СВЕРДЛОВСКОЙ  
ПИСАТЕЛЬСКОЙ  
ОРГАНИЗАЦИИ  
И СВЕРДЛОВСКОГО  
ОБКОМА ВЛКСМ

ИЗДАЕТСЯ  
С АПРЕЛЯ 1958 ГОДА  
СВЕРДЛОВСК  
СРЕДНЕ-УРАЛЬСКОЕ  
КНИЖНОЕ  
ИЗДАТЕЛЬСТВО



№8 \* 1975

УРАЛЬСКИЙ  
СЛЕДОПЫТ



# Петька Тере

Эльза  
БАДЬЕВА

## И ТОГДА ОН РЕШИЛ...

Мой герой Петька Терехов ехал на БАМ в одиночку. Его не провожали оркестры, ему не говорили с трибун пламенных напутственных речей и восторженные девчонки не бросали цветов в окна вагонов. А вагон не был набит веселыми, без усталости поющими ребятами, в нем не брэнчали гитары, не кричали со спин и рукавов штормовок яркие эмблемы отрядов и не перекрывало их пестроту четкое, громкое, как набат, внушающее интерес, уважение и зовущее в большую дорогу слово БАМ.

Не было этого. А было горькое, досадливое ощущение вины перед матерью, которая негодовала и кричала, еще надеясь, что может не отпустить, а потом умоляла и плакала, уже понимая свою беспомощность. Было как-то неловко перед отцом, которого он не предупредил. Неловко за телеграмму, посланную ему в санаторий с вокзала, в последний момент — короткую, резкую, как стук двери, когда закрывают стремительно, торопясь уйти навсегда. И еще неприятно было ему ощущение какой-то ворватости, появившееся в первый же день пути, в первый час, в первые же минуты...

Молоденькая щеголеватая проводница, похожая на стюардессу международного лайнера, проверяя его билет, равнодушно спросила:

— До Большого Невера?

— Билет-то до Невера, — весело, даже, пожалуй, лихо возразил Петька, — а мне — на БАМ. Не подскажете, на какой станции лучше выйти? — И улыбнулся ей открыто, приветливо.

Она не приняла этой его улыбки, ответила откровенно насмешливо:

— Едешь на БАМ, а не знаешь, где это. Зачем едешь-то?

Это был выпад, оскорбление. И Петька, изобразив на своем померкшем сразу лице независимость, зашвырнул на третью полку рюкзак, вынул пачку «Дорожных», неумело, но вызывающе кинул в рот сигарету и, нашарив в тесном кармане джинсов коробок спичек, ушел в тамбур.

И вот тут-то навалились на него все эти чувства и ощущения, и он сначала отбивался от них и отбиться было возможно, потому что была и защита — неистребимое, какое-то фанатическое желание попасть на эту грандиозную, необходимую стране стройку, стать там нужным, своим и работать, работать, прокладывать в таежном безлюдье стремительные, звенящие от морозов и будущих скоростей рельсы. Мысленным взором он опять, в который уже раз, видел и тайгу, и ребят в темных от пота штормовках, и ту самую, Байкало-Амурскую, которую не могли, не должны были построить без него.

Но щеголеватая проводница не оставляла его в покое. Открыла дверь в тамбур, повела выщипанной подведенной бровью, спросила высокомерно:

— Постель берешь?

Он кивнул, и она ушла, бросив через плечо: — Много вас таких. И туда, и обратно катаются...

Он не успел ответить, остался в тамбуре. Возвращаться в вагон, а значит, встречаться с проводницей еще раз не хотелось.

И опять он вспомнил, как, прочитав в «Комсомолке» про БАМ, бежал сломя голову в райком, уверенный, что ему там обрадуются, даже, может быть, восхитятся: отличник, медалист, а вот... не в институт рвется, а тяжелую простую работу просит, в медвежью глухомань готов ехать. Он уже представлял себе, как положит в карман новенькой штормовочки заветную комсомольскую путевку, как зайдет к ребятам проститься... Но работник райкома первым делом спросил:

— Какая у тебя строительная специальность?

А потом показал пачки писем, телеграмм, заявлений.

— Видишь вот... А сколько в стране райкомов?..

Петька ушел, но не сдался. Он засел в библиотеке: рылся в подшивках, штудировал журнальные статьи. Запоминал названия, цифры, научные, инженерные, экономические выкладки и обоснования. Перерисовывал карту-схему будущей магистрали. Он следил теперь за газетами,

# ХОВ ЕДЕТ НА БАМ

Рисунки  
В. Бубенищикова

вырезал фотографии, корреспонденции с мест события. Их было еще немного: летопись стройки, как и сама стройка, только начиналась.

А потом он стал выбирать маршрут.

Проще всего было, минуя Тайшет и Братск, доехать до станции Лена и оказаться в Усть-Куте, откуда, как только наведут мост через Лену, потянут строители на восток два пути новой дороги. Но «проще» Петьке не хотелось. И тут он как-то вычитал в газетах, что географический центр трассы — в районе поселка Тындинский, что к нему от маленького полустанка на Транссибирской магистрали ведут ветку и что полустанок этот, построенный в давние дореволюционные времена, называется не как-нибудь, а именно Бам. Это последнее не то чтобы удивило Петьку, это повергло его в изумление. Почему? Откуда такое современное название? И вообще, что это за малый Бам? Газеты не давали ответа. И тогда он сразу решил: именно туда и поедет.

На картах названия Бам он не нашел, как ни старался. Пошел к железнодорожным кассирам, но и они, полистав свои справочники, развели руками: нет такой остановки. Посоветовали взять билет до Большого Невера, сказали: «...где-то там, близко». И Петька отнес в комиссионку свой «Зенит». Рассудил так: «Заработаю — куплю. А пока — не до фотографии. Жить придется в палатке, работать — за троих».

Он стыдился тайной своей распродажи, ждал удобного момента открыться, но его не было, и ему пришлось скрывать до тех пор, пока мать сама не спросила, не выкрикнула в сердцах: «Собрался!.. На что поедешь-то?» Крик этот — отчаянный и чуточку торжествующий — выдавал слабую ее надежду: ну, чем же еще его задержать?.. Она собиралась крикнуть еще, что не даст денег: «...и не думай, и не проси!...», но он опередил ее, сказал:

— Ты не ругай, мама. Я аппарат продал. На билет и на первое время хватит. До полочки...

## МОГОЧА, НАНАГРЫ, ТАХТАМЫГДА...

И вот он ехал на БАМ. Ехал уже пятые сутки. Давно осталась позади Чита с симпатичным старомодным вокзалом, кедровыми орешками в станционном киоске и веселыми демобилизованными солдатами на перроне. Погоны и околыши на фуражках солдат зеленые — граница близко. Осталась большая станция со странным, загадочным для Петьки именем Могоча. Город из окна вагона был виден лишь десятком-двумя домов — современных, многоэтажных, белых и розовых, ступеньками сбегавших по склону сопки и исчезающих где-то там, в низине, в руслах город-

ских улиц. Над Могочей в разных местах висели сразу шесть вертолетов. Два из них, повисев, медленно и как-то вроде бы празднично стали заходить на посадку. А солнце в это время опустилось за соседнюю сопку и светило, пламенело оттуда, поджигало вечернее небо. Потемневшая сопка показалась Петьке похожей на гигантскую печную заслонку, которая с трудом сдерживает рвущееся наружу пламя.

В закатном красноватом свете играли бликами живописно сколотые вдоль полотна серо-розовые стены каменных коридоров, то спокойно, а то словно спеша и потому спотыкаясь о камни, текли реки. А одна из них — Черный Урюм — особенно долго текла рядом, и поезд, казалось, торопился убежать от нее: гремел над нею мостами, прятался в распадках меж сопки, а она настигала снова, появляясь вдруг совсем с другой стороны, и опять несла свои воды рядом с дорогой и к вечеру становилась действительно черной.

Петьке нравилась эта река постоянством, она успокаивала его своим верным соседством, а когда он узнал от попутчиков, что есть где-то еще и Белый Урюм и что обе реки, сливаясь, дружно текут потом в одном русле, он усмехнулся самоуверенности катившего по рельсам поезда, возомнившего себя догоняемым такой прекрасной рекой.

Чем ближе подъезжал Петька к заветным, манившим его местам, тем значительнее казались ему приметы дороги. Он запоминал удивительные местные названия — Нанагры, Чакуринь, Тахтамыгда... Он, отважившись, спросил проводницу, что они означают. Она, видно, не знала и потому сказала вместо ответа — бесцеремонно, по-прежнему насмешливо:

— Надумал, где выходить?

Петька не нашелся, что и сказать. Надумать то он надумал, да не знал — верно ли.

— В Тахтамыгде выходи, — сказала она уже проще, доброжелательнее. — Был, правда, случай, когда на Баме экспресс остановили. На две минуты...

Она интригующе замолчала, подразнила Петьку этим своим молчанием. Он выдержал, не спросил. И, оценив его выдержку, проводница рассказала, как везла из Москвы на БАМ ребята — участников XVII съезда комсомола. Повторила:

— Вот для них и остановили. По особому приказу министра.

Она пошла дальше по коридору, но обернулась, предупредила:

— Через два часа твоя Тахтамыгда. Не прозевай.

Петька забеспокоился, заглядывал на своего попутчика — командированного в Благовещенск благодушного медлительного мужчину. Тот поймал его взгляд, невозмутимо сказал:

— А выходить все-таки надо в Сквородино.

И он снова объяснил, что Сквородино — крупная узловая станция и именно там, в здании вокзала, в комнате отдыха под порядковым номером «четыре» располагается штаб Бамстройпути. И что туда тянутся со всех проходящих поездов ребята с рюкзаками да с гитарами, в кедах, в штормовках, налегке, словно туристы какие.

При этом он неодобрительно оглядел Петьку, будто не с ним третьи сутки ехал нос к носу в одном купе, остановил взгляд на его похудевшем рюкзаке и что-то еще поискал глазами — наверно гитару.

Петька подумал, сравнил совет проводницы с обстоятельной информацией соседа и утвердился в намерении довериться попутчику.

В Сквородино он приехал вечером. Выходя из вагона, кивнул въедливой, но все равно симпатичной, похожей на стюардессу, проводнице, сказал:

— До свидания. Через год в отпуск поеду. В вашем вагоне.

Она милостиво улыбнулась, а Петька подтянул лямки рюкзака и решительно зашагал в вокзал, к четвертой комнате. Нетерпеливо схватился за дверную ручку, рванул ее на себя, распахнул дверь и замер перед рядами занятых отдыхающими кроватей.

А потом, проклиная попутчика, беззаботно катившего себе в Благовещенск, покупал он в кассе билет на обратный поезд, несколько часов валялся на деревянных эмпээсовских скамейках, торчал на перроне и, наконец, ехал каким-то медленным сборным поездом до той самой Тахтамыгды, которую с шиком миновал в экспрессе еще засветло. Оказалось, штаб давно переехал, и права была проводница.

В загадочной ночной Тахтамыгде он ничего толком не разглядел, но, к счастью, натолкнулся в вокзале на двух парней с рюкзаками и гитарами и пошел с ними семикилометровой дорогой через лес, устало, тяжело шагая, боязливо прислушиваясь к тревожному шороху тронутых ветром деревьев, к хрусту веток под ногами спутников. Парни весело болтали, смеялись, в пору им было вскинуть гитары и забренчать на весь лес что-нибудь модерновое. Были они здесь не новички, шли на Бам, чтобы добираться оттуда в поселок Аносовский. Ни много ни мало — восемьдесят километров.

С этими ребятами Петьке явно везло. Где-то на полпути догнал их груженный матрасами и подушками автофургон, посигналил и, не дожидаясь «голосования», остановился. Шофер открыл дверцу, спросил:

— На Бам, что ли?



— Дальше, в Аносовскую.

— Садитесь, по пути!

Все трое взобрались, плюхнулись на мягкое ватное великолепие, но, вспомнив о Петьке, его попутчики замолотили по кабине кулаками, закричали что есть мочи:

— На Баме остановись! Скинем одного...

Шофер коротко дважды гуднул — понял, мол, не орите! — и включил скорость.

## ВПЕРЕД, НА ТЫНДУ!

Петька впервые услышал этот клич во сне. Сам он, похоже, еще спал — обмякший, отяжелевший, блаженствующий в угретой тишине ватных матрасов, а слух его уже включился, настраивался на какую-то все ускользящую волну, и он помимо желания слышал каким стуком, треском «фонит» эта волна и как прорываются сквозь шумный фон то далекие, то близкие голоса.

Просыпаться не хотелось. Не хотелось двигаться, менять положение, и он лежал навзничь, раскинув руки, тепло и уютно придавленный двухспальным матрасом.

Слух принял далекий, летящий крик: «Вперед, на Тынду!», но сознание еще не сработало, и Петька продолжал оставаться в небытии, в неведении, вне времени и места, и только когда крик этот — резкий, пронзительный, торжествующий — повторился совсем рядом, он вмиг отбросил верхний матрас, вскочил и не выбрался, а вывалился из фургона.

Вдоль одноэтажной деревянной улочки по деревянным мосткам бежал лет шести мальчишка, размахивал хозяйственной сумкой и самозабвенно орал во все горло: «Впе-ре-ед!.. На Тын-ду-у!..» А за ним бежали ребяташки помладше, стараясь не отстать и едва поспевая, и тоже крича на разные голоса одну-единственную эту фразу.

Петька прислонился к фургону и рассмеялся. И понял, ощутил, поверил, что он, наконец, на Баме. И тогда только заметил с головой залезшего в автомобильный мотор шофера, и припомнил разом ночной лес, фары попутного гастика, деловитое, доброе «...по пути!» и удобную быструю езду, а потом, у самого поселка, вынужденную остановку машины.

— Где аносовские-то? — вспомнил Петька и тронул спину шофера.

Тот вылез из мотора, приветливо оскалился:

— Спать ты горазд! А парни ночью уехали.

— Что, плохо дело? — кивнул Петька на открытый капот.

— Прокладку пробило. Ночью-то негде взять, а сейчас ребята из мехколонны выручили.

Он снова полез в мотор, сказал уже оттуда, не поворачиваясь:

— Заменяю уже. Последние болты закручиваю.

— Спасибо тебе, — стиснул его сзади за плечи Петька. — Легкой дороги тебе.

— Такой здесь нет, — весело обернулся шофер и сощурился. — Будет, однако.

— ...Ну, ладно. Бывай! — попрощался Петька и вышел на дощатую бамовскую улицу.

Ребятишки уже неслись с тем же кличем обратно от магазина и волокли теперь сумку все вчетвером, взявшись по двое за каждую ручку. «Вперед, на Тынду» катил уже не порожняк, а груженный хлебом и молоком состав.

Проводив его взглядом, Петька осмотрелся внимательнее. Ладные деревянные дома стояли один к другому, и над дверями висели деловые, лаконичные вывески: «Столовая», «Магазин продуктовый», «Магазин промтоварный», «Общезитие», «Клуб»... И только одна — красочная, со смешным рисованным человечком и веселой надписью «Буратино». Во дворе дома с таким игрушечным названием — грибки, песочницы, качели — словом, универсальная хорошо обжитая детсадовская площадка. Это Петьку удивило и даже, вроде, разочаровало. Он искал глазами палатки строителей, не нашел, и это тоже ему, жаждавшему трудностей, не понравилось.

Первым делом надо было найти контору или штаб, или... как там еще называется, где оформляют новичков на работу. И Петька медленно пошел вдоль единственной, аккуратно спланированной улицы. Тут его заметили бамовские девчата: видно, по неуверенности, по рюкзаку за плечом догадались, что — новенький. Подошли, спросили, как старого знакомого:

— Ты что, приехал только?

И догадались, что ему надо.

— Вот здесь, — та, что побойчей, показала на дом, возле которого они остановились, — ОВЭ. А там, — махнула рукой в противоположную сторону, — ГАРЕМ.

— Ну и что? — не понял Петька. — Мне-то зачем?

Он подумал — решили подшутить. И, чтобы не попасться на удочку, пошел себе дальше.

— Чудак-человек! — позвала его бойкая девчонка. — Куда пошел? Этой дорогой не с рюкзаками — с ведрами ходят.

— Колодец, что ли, там?

Девчонка весело рассмеялась, и Петька заметил вдруг, что смеется только одна из них, а та, вторая, даже не улыбнется. Смотрит на него каким-то отсутствующим, затаившим не то печаль, не то тоску, взглядом. Бойкая девчонка все смеялась — не могла успокоиться. Сквозь смех все-таки пояснила:

— За брусничкой с ведрами ходят. Туда, в сопки... — Она махнула рукой вдоль по улочке и смеющимися глазами вновь прицелилась в Петьку. — Между прочим...



Своим беззаботным смехом и каким-то уж очень праздным видом она раздражала Петьку. Очевидно, раздражала и подружку; ни слова не говоря, та медленно повернулась и медленно пошла в сторону, противоположную брусничным солкам.

— Между прочим, — многозначительно повторила хохотушка и лукаво потупилась. — ГАРЕМ — это что, думаешь?

Не сомневаясь, что она морочит ему голову, Петька все же сказал:

— Женское общезнание, наверное.

Девчонка ойкнула и снова так весело, так заразительно рассмеялась, что Петька тоже улыбнулся, а подруга ее обернулась и остановилась, их поджидая. Тогда хохотушка энергично взяла Петьку под руку и пошла с ним шаг в шаг, не торопясь, точно прогуливаясь. Она не переставая говорила, а поравнявшись с подружкой, прихватила под руку и ее, а та, все еще удрученно молчавшая, неодобрительно глянула на нее из-под ресниц, а потом остановила изучающий взгляд на Петьке.

— ГАРЕМ — это строительный поезд, — просто сказала она. — Головной, авторемонтный... Вам туда и надо пойти.

Они проводили Петьку до двери с вывеской «ГАРЕМ-28. Участок № 1», заверили, что еще встретятся и ушли, а Петька подумал, что был с ними невежлив — даже имен не спросил. Подумал и тут же забыл о них.

## ВЧЕРАШНИЙ СТУДЕНТ

В коридоре перед кабинетом начальника участка толпились такие же, как и Петька, отовсюду приехавшие ребята. Начальник еще не принимал. Шла пятиминутка.

Сквозь тонкие дощатые двери было слышно, как коротко, но обстоятельно говорили прорабы об объемах предстоящих работ, о состоянии техники. Называли цифры, фамилии, марки машин... Звонил телефон, отрывал начальника от рапортов и тот отвечал спокойным, прочным голосом — кому-то давал советы, распоряжения либо говорил: «Да. Да. Слушаю. Понятно», и возвращался к прорабским рапортам. Но отрывали его все-таки редко. Видно, время это строго принадлежало планерке.

Наконец, за дверью послышался шум отдвигаемых стульев, общий нестройный разговор, и ребята в коридоре оживились. Из кабинета стали выходить прорабы. Но тут, пробежав мимо толпившихся в коридоре парней, к начальнику прорвалась какая-то женщина, панически прокричала:

— Александр Иванович! Столовую закрывают! Хлеба нет...

Выходившие было прорабы вернулись в кабинет, а начальник участка все тем же невозму-

тимо спокойным, без малейшего раздражения голосом попросил:

— Не кричите. Закройте дверь.

Дверь притворили плотно, однако все оставалось слышно, и ребята тут же узнали, что в столовую не привезли хлеб, потому что пекарня неожиданно встала на ремонт, что к обеду не останется ни куска и потому кто-то посчитал — лучше не открывать столовую вовсе.

— Закрывать нельзя, — только и сказал Александр Иванович, но сказал опять-таки очень спокойно и убежденно и, видно, одним своим тоном успокоил запаниковавшую женщину и зашумевших было прорабов. Успокоил и ребят в коридоре, не имевших еще отношения к стройке, но принимавших к сердцу ее заботы.

Петьке начальник участка уже нравился. Он не видел его, но представлял хорошо: такой голос мог принадлежать только человеку опытному — знающему, умеющему, надежному. За спиной у такого руководителя наверняка не одна большая стройка, и с людьми он, наверно, ладить умеет, и строгим бывает до непримиримости, и ценит, бережет добрых работников. Петька представлял и его внешность: крупный, неторопливый, такой же весь прочный, как и его голос.

А голос этот, между тем, доброжелательно и настойчиво вызывал через коммутатор ближайшие станции и поселки и, оставаясь спокойным, приобретал жестковатость и требовательность. Наконец, начальнику удалось с кем-то договориться, кому-то из прорабов он велел тут же брать машину, пару чистых мешков...

— В Солнечную поезжай. Выручат.

Кто-то уже, стуча сапогами, вылетал из кабинета, а начальник еще кричал ему вслед:

— Вот... деньги возьми. Двух десятков хватит? И крик его тоже был без суеты, без нервов.

Из кабинета начальника ребята выходили по разному. Первый парень вылетел недоумевающе обозленный, прихватил оставленный в коридоре свой чемоданишко, вырвал из кармана берет, угрожающе помахал им над головой: «Жаловаться буду!» Второй вышел торопливо, озабоченно, на вопрос ребят: «Ну, как?» ответил уклончиво: «В мехколонну надо сходить...» Потом вошли в кабинет трое парней с путевками. Вышли довольные, деловитые, потопали через дорогу в общежитие устраиваться. Кто проскользнул в кабинет после этих счастливых, Петька не видел. Слышал только негромкое, робкое: «Пусти, моя очередь...»

«Девчонка, что ли?» — подумал он и получил подтверждение: в кабинете возник жалобный, по-детски тоненький плач. Возник и тут же погас, словно расплававшемуся ребенку торопливо сунули лакомство.

Девчонка долго не выжидала, а когда, наконец, появилась в дверях — на лице ее не было и следов огорчения.

— Ревела-то почему? — спросил Петька, уверенный, что ее приняли.

— Заревешь, — призналась девчонка. — По-езжай, говорит, обратно. Специальность не подходит.

— А какая специальность-то?

Девчонка замялась.

— Ну, не подходит, и все.

Парни оживились, закидали девчонку вопросами:

— Балерина?

— Кондуктор?

— Манекенщица?

Она развеселилась, неохотно призналась:

— Зоотехник... Вот, говорит, и хорошо. Работай там у себя как следует. БАМ накормить — знаешь, сколько мяса нужно!

— Правильно говорит, — согласились с начальником парни, еще ожидавшие аудиенции.

— А я не только зоотехник, я — строитель, — ликующе возразила девчонка. — Пока училась — три лета подряд в стройотряде. Бригадиром. Вот так! — и она победно прошла мимо оторопевших парней.

По мере того как очередь на прием к начальнику участка таяла, Петька все больше и больше волновался. До него оставались двое демобилизованных солдат и подозрительная компания неопрятных и, вроде бы, неумытых, с обветренными, опухшими лицами мужчин неопределенного возраста.

Солдаты, ожидая, покуривали, весело вполголоса переговаривались. Мужчины — все четверо — сидели на корточках вдоль стены и хмуро молчали. Петька нетерпеливо прохаживался по коридору, выходил на крыльцо. С крыльца было видно вытянувшееся под прямым углом к главной улице здание общежития. Одноэтажное, деревянное, щитовое, как и все другие строения. А слева, чуть в стороне, над красной коробкой аккуратного — кирпичной кладки — дома тянул свою длинную руку ярко-желтый подъемный кран, добавляя к отстроенным этажам еще один — пятый.

Сбежали с крыльца солдаты и, пожелав Петьке удачи, кинулись останавливать с грохотом проезжавший мимо тяжеловес — МАЗ.

— Ну, как? — крикнул Петька вдогонку.

— Порядок! — обернулся один из них, а другой уже забирался в кабину и тянул с собою товарища.

Не успел МАЗ отъехать, как вывалились в коридор из кабинета четверо тех, неумытых. Вывалились и неспеша зашаркали к выходу. «Быстро он их...» — отметил Петька и, сразу же оробев, толкнул дверь.

В простом и каком-то необжитом кабинете

кроме стола и стульев ничего не было. «Строители, — успел подумать Петька, — и кабинеты у них временные...» Прошел к столу, увидел начальника участка и очень удивился. Вместо солидного, пожилого человека — тяжеловесного, прочного, неторопливого — на него изумительно смотрел парень лет двадцати пяти, спортивно подобранный, легкий, не иначе — вчерашний студент. И хотя сидел он за своим начальничьим столом спокойно, привычно и даже, вроде, удобно, угадывалась в нем постоянная готовность к движению, сдерживаемая энергия, вынужденность такого вот статичного состояния.

— Садись, — кивнул он на стул. — Рассказывай.

— Я приехал, чтобы...

— Знаю, — улыбнулся глазами удивительно молодой начальник. — Рассказывай о себе.

— Видите ли... Я сам...

Он не дал Петьке договорить.

— Тоже знаю: без путевки. Я не об этом. Где работал? Что умеешь? Родители есть?

— Откуда же знаете, что без путевки, — осмелел Петька.

— Прочитал, — серьезно сказал начальник участка и, заметив Петькино недоумение, уточнил: — Только что прочитал на твоём лице. — И оборвал «лирическое отступление»: — Слушаю.

Он дорожил временем — каждой минутой — это Петька почувствовал сразу и потому ответил коротко, без обиняков. Добавил, правда, что согласен на любую работу, что он абсолютно здоров и вынослив, а если чего не умеет — научится.

— Вот, вот, — подхватил хозяин уютного кабинета. — Надо выучиться. На плотника... каменщика... бульдозериста... На строителя. А сейчас нет для тебя работы. Напрасно приехал. Деньги на обратную дорогу есть?

Петька сжал задрожавшие губы.

— Механизаторов и тех некуда принимать. Шоферам отказываем. Представляешь, сколько парней сорвалось с мест, понаехало?.. Не представляешь!

Тревожно звякнул телефон, начальник сказал в трубку: «Терещенко». И слушал, разбирая лежавшие на столе бумаги. Экономил время. Потом сказал еще одно слово: «Ясно». Нажал на рычаг, связался с кем-то, приказал:

— Пошли механика в карьер. Срочно. Экскаватор встал.

И пока слушал ответ, опять просматривал бумаги, делал какие-то пометки.

Петька упрямо сидел, хотя все уже было ясно. Подступало отчаяние. Он еще сопротивлялся ему, но сопротивлялся уже из последних сил.

— Не отремонтируешь — не будет балласта.

Укладка встанет, — пригрозил Терещенко. — Ищи, ищи. Я подожду.

Он поднял от бумаг глаза, увидел растерянного, убитого Петьку, заметил, как пытался он выглядеть независимым и спокойным и, не выдержав его встречного взгляда, снова занялся бумагами. При этом он не отрывался от трубки, раза два сказал телефонистке — «говорим!» и, наконец, дождался своего телефонного собеседника. Спросил его успокоительно, уже наверняка зная, что тот ответит:

— Нашел? Порядок. Отремонтируете — дай знать.

Положил трубку, опять глянул на Петьку. Глянул сочувствующе, а сказал резко:

— Помочь тебе не могу. Поезжай домой, учишься, получай строительную специальность. Работы здесь — на десяток лет. Успеешь. А одной романтики здесь мало!

Он проговорил все это залпом, хотел скорее кончить нелегкий для обоих разговор.

Казалось, он мог бы уже привыкнуть: каждое утро перед дверью его кабинета толпились вот такие же, откликнувшиеся сердцем, приехавшие издалека ребята. Он безошибочно отличал их от пустозвонов, мотающихся по белу свету в поисках «где лучше», от расчетливых дельцов, рванувших на горячую стройку в надежде «отхватить на машину», даже от умелых и работающих, но не в меру тщеславных парней, жаждущих известности и наград, а работу почитающих средством их обретения. Он понимал их. Он радовался, когда кроме буйного искреннего желания строить они привозили с собой и умение. Он каждый раз преодолевал себя прежде, чем сказать таким «нет».

Терещенко встал, надел плащ, взял с подоконника кожаную с короткими полями шляпу. Петька тоже поднялся. Он осознал вдруг всю нелепость своего положения, почувствовал обиду — незаслуженную, несправедливую — ведь не развлечения ради ехал сюда, не за рублем, не за славой! — и, обожженный этой обидой, внутренне выпрямился, сказал не столько Терещенко, сколько самому себе:

— Отсюда я не уеду.

Начальник участка посмотрел на него пристально, с интересом. Промолчал. Первым шагнул к двери. Когда вышли на улицу, спросил:

— Петр Терехов? — и по выражению Петькиного лица поняв, что правильно запомнил имя, посоветовал:

— Сходи еще к Пестрецову. В отделение временной эксплуатации. Уверен, что бесполезно, но все-таки — сходи.

И крупно зашагал к строительной площадке, поглядывая на верх кирпичной коробки, туда, где едва видны были камешки, где трудилась, не переставая, длинная желтая рука башенного крана.



## ОЖИВШИЕ СИМВОЛЫ

Ничего он не добился и у Пестрецова. Сунулся к начальнику ОВЭ, когда тот одной ногой был уже где-то на звеносборке, когда топталась перед ним колоритная компания тех, четверых. Переждал. Поговорил. Получил сочувствующий, доброжелательный отказ. Сам понял — в этой железнодорожной организации новичок-неумеха и вовсе не к месту.

Пошел в столовую, постучал в запертую дверь. Выпорхнула девчушка в белом халатике, укоризненно сказала:

— Долго спишь. Завтраком давно накормили. — И увидела его рюкзак. — Новенький? Тогда проходи.

Петька еще не переступил порог, а она уже кричала в раздатку:

— Люсь! Гуляш остался? А шницели? — и топила Петьку. — Что тебе, говори быстрее!

Видно, и она была занята не меньше здешних начальников, и Петька поел наскоро, не ощутив вкуса, и, только когда вышел, сообразил, что хлеба-то у них в столовой и правда нет.

Самое время было вывернуть все карманы, пересчитать деньги и прикинуть — хватает ли на обратный путь. Но по мере того, как Петьку хлестали одна за другой неудачи, он вместо отчаяния обретал почему-то все большую стойкость и, как это ни парадоксально, — уверенность в том, что все сделал правильно: не пошел в институт, приехал вот сюда на БАМ, где, оказывается, и без него работников деять некуда. Правильно и то, что ходит здесь пока неприкаянным от одного начальника к другому, не известно, где будет ночевать, не известно, что ждет его завтра... Все, все правильно. Не по командировке ведь ехал, не по путевке.

Он зашел в магазин, оценил щедрость продуктовых прилавков, не устоял, купил сливочных тянучек. Заглянул в промтоварный. Увидел фотоаппараты, увеличители, поторопился уйти. Обошел поселок, спустился к станции. И тут обнаружил, что станции-то, оказывается, две и обе с одним названием.

Первая — та, на которую он приехал, — «Бам. МПС». Деревянный домик на обочине старой Транссибирской двухпутки. Летят мимо нее в оба конца поезда — товарные, пассажирские, скорые... Покачивают на частых стыках контейнеры, платформы, рефрижераторы, спальные и международные вагоны. А рядом — какие-то запасные пути. Буднично, спокойно лежат себе на полотне, тянутся параллельно «рабочим», не отрывающимся от колес рельсам, постепенно от них отклоняются и вдруг красиво и круто поворачивают строго на север и уходят в тайгу, в сопки.

Петька прошел по этим «запасным» путям и увидел сначала платформы путеукладчика с готовыми, собранными уже звеньями, женщин, быстро и ловко работающих на звеносборке, а среди них ту самую «хохотушку», которую посчитал за бездельницу. Она крепила к шпалам металлические накладки, и руки ее мелькали размеренно, бойко, словно играючи, а лицо было сосредоточенно и серьезно. Она не заметила Петьку, и он устыдился своего скоропалительного, несправедливого суждения о ней. Потом — чуть в стороне, на приколе, — увидел он сплотки жилых вагончиков с пристроенными тесовыми лесенками и даже крыльечками, занавесочками на окнах и двумя тельняшками, рвавшимися с бельевой веревки. Увидел аккуратный, «с иголки» передвижной полевой домик, яркий и тепло-желтый, как летний подсолнечник, заметный не столько своей праздничной внешностью, сколько четким и знакомым: «Станция Бам». И буквы — «ОВЭ» — отделение временной эксплуатации.

С этой точки и начиналась дорога на Тынду, к географическому центру будущей Байкало-Амурской. И Петька мгновенно вспомнил: вот здесь, на 7274-м километре от Москвы 14 сентября 1972 года тепловоз 1272 прошел первые метры по новому станционному пути, подтолкнул платформы с готовыми свежесшитыми звеньями, путеукладчик послушно подхватил первое, «серебряное» звено, уложил его на отсыпанное земляное полотно!

Он читал об этом в журнале, старательно выписывал цифры, даты, названия и там, в тихом зале библиотеки, воспринимал их высокими символами — почти абстрактными. А теперь он шел по тому «серебряному» звену, на том самом 7274-м километре, своими глазами видел стремительные, зовущие в путь рельсы новой дороги. И символы оживали на глазах.

Поддавшись искушению, Петька открыл дверь станционного домика. В глубине его за столом, уставленным телефонами, сидела женщина в железнодорожной шинели и кокетливо в зеленом платочке и строго говорила по телефону. Перепачканный глиной ловкий мужичок обмазывал только что сложенную великолепную печку с двумя чугунными конфорками. Женщина посмотрела на Петьку спрашивающе, а мужичок обрадованно позвал:

— Парень! Налей-ка воды. Руки грязные.

Петька зачерпнул из эмалированного ведра кружкой, подал, довольный, что его не шуганули отсюда. Поторопился объяснить:

— Работать приехал. Да пока не устроился.

— Едут ребята, — приветливо согласился мужичок и вернул Петьке кружку. — Особенно весной, летом... Помимо отрядов до сотни в день прибывало. Как цыгане лагерем тут стояли, костры жгли. Ну, и уезжали...

Он осекся, углядев брошенный у входа Петькин рюкзак.

Женщина — дежурный по станции, — прихватив сигнальные флажки, вышла из домика, и Петька, почувствовав себя свободнее, спросил: — Вы из строителей?

Печник больше не отрывался от работы.

— Мы здесь все строители, когда надо. А вообще-то я начальник станции.

## СЛЕД ВОЙНЫ

Дрезина была новенькой, яркой, как станционный домик. На ее красной платформе стоял застопоренный — красный же — подъемный кран. Кабина была широкой, имела четырехсторонний обзор. Звали дрезину несколько панибратски — «агээмка», или на официальном языке: АГМ-105.

Она везла машиниста казаха Габдумали Жумадилова, его помощника Игоря Карнышева, парторга ОВЭ Владимира Ивановича Кузнецова, заезжего репортера, к которому парторг обращался официально «товарищ Поляков», и Петьку, прихваченного ими по доброте душевной. Петька ехал до головы укладки, чтобы добраться оттуда в поселок Аносовский, где, может, ему повезет больше.

Однако уже и сейчас он радовался и считал: повезло. Потому, что нарядная быстрая агээмка катила их по новой — строго говоря, еще не существовавшей — дороге, той самой ветке Бам — Тында, которую ждал, как дождя в засуху, весь большой БАМ.

Петька смотрел на дорогу с восторгом, с чувством душевной причастности и уже любил недавно чужую, трудную для строителей и красивую эту землю... На первых же километрах прямо с пути тяжело поднялся косач, отлетел недалеко и исчез в кустарнике.

— Подранок, — сказал парторг. — Подберем.

Остановили дрезину, искали, пошумели, вспугивая. Косач затаился, пережидал.

— Собаку бы сюда! — подсадовал репортер.

Но собаки не было, и машинист, которого все — и он сам — звали на русский манер Гришей, легонько надавав контроллер, покатил агээмку дальше, а тетерев остался жить или умирать на свободе.

Конечно, Петьке хотелось ехать на открытой платформе, чтобы ветер — в лицо, и тайга — не через стекло — рядом. Но Владимир Иванович бесцеремонно загнал его в кабину, сказал коротко: «Простудишься». А Петька услышал большее: «Простудишься — на стройку не попадешь». И безропотно повиновался.

Стараясь не мешать, не лезть на глаза, Петька стоял в уголке кабины, держась ближе к Иго-

рю — русоволосому, светлоглазому, широкоплечему пареньку в великолепном расписном свитере, добродушием, открытостью, маленькой русой бородкой — всем видом своим напоминавшим удалых русских витязей времен Александра Невского. Удивительно был похож этот современный русич на кого-то из фильма или с картины о тех временах, и даже ультрамодные темно-вишневые бархатные джинсы с клешами и бесконечными латунными клепками не разрушали этой похожести.

Петька знал Игоря почти сутки, с той самой минуты, как засигналила на подъезде к временной станции дрезина, и приветливый поммашиниста, увидев дежурную по станции, весело вскинул руку: «Привет, тетя Нина!» А через Игоря по-новому, не с налету, не со стороны увидел и узнал он за эти сутки Бам, тех, кто пришел сюда первыми, и был безмерно удивлен, открыв: не сегодняшние комсомольцы-добровольцы, новички сделали здесь «погоду», а те, кто уже «прошел по шпалам» прежде, чем пронеслись по ним поезда где-нибудь на Хребтовой — Усть-Илим, на дорогах Тайшет — Лена, Кунград — Бейнео, Макат — Мангышлак... В свое время и они были новичками-добровольцами с путевками комсомола, а то и без них, всего лишь с проездными билетами в один конец, легкими рюкзаками и несколькими кредитками в тощем кармане, но с неизмеримым — подмявшим все остальные желания — стремлением откровенно, созидать, строить, сделать то, что в первую очередь необходимо стране.

Они строили прочно, надолго, жили этими стройками и даже в неудобствах, временках не чувствовали себя временными. Заводили семьи, растили детей, возили их со стройки на стройку, а потом дети становились помощниками и такими же одержимыми созидателями, как их отцы. Кто такой Игорь? Сын железнодорожника-строителя, машиниста локомотива Иосифа Еремеевича Карнышева, младший брат железнодорожника-строителя водителя автотрисы Бориса Карнышева. А кто такой парторг Кузнецов? Сын кадрового путейца, возившего по железнодорожным стройкам всю свою большую семью, в которой нынешний парторг был пятым ребенком. А теперь сам он строитель, и его сын Володька хоть и мечтает о речном училище, а прикладывает руки к отцовской стройке: и лопатой, и ломом орудует, и тащит из-под насыпи каменщи — приваливает древки предупреждающих знаков, чтобы прочнее стояли. И кто знает, не завлечет ли его БАМ настолько, что поменяет он зыбкую голубую мечту на стремительный, дерзкий разбег «дороги века».

Петька знал теперь, какой незаменимый, великолепный работник Анатолий Дмитриевич Тарасевич — тот самый начальник станции, которого принял он поначалу за печника. Когда вече-

ром того же дня увидел его в коридоре конторы «при полном параде» — в форме с золотыми нашивками, с наградами, свежесбритого, подтянутого — не узнал сразу. А «тетя Нина» — Нина Ивановна Каспирович, дежурная по станции, оказалась ветераном-строителем. Вместе с мужем, старшим дорожным мастером Иваном Ивановичем Кислым, трудилась она, прокладывая дороги в Белоруссии, Карелии, Сибири и Казахстане. На БАМ они приехали, отстроив дорогу Гурьев — Астрахань.

Легкая агээмка, пренебрегая ограничениями, обязательными для локомотивов, неслась крутыми извивами у подножий сопок, выскакивала на просторные поляны, на берега рек, оказывалась в коридоре великолепных своим мрачным величием придорожных скал. Она миновала расположенный чуть в стороне, в низине карьер, хорошо просматривающийся с дороги. Над карьером семью густыми облаками вилась пыль, семь ковшей экскаваторов металась над жадными, ненасытными кузовами самосвалов, нагружая их тем самым «балластом», о котором заботился молодой начальник участка Александр Иванович Терещенко.

Петька поискал глазами, нашел в самом дальнем конце карьера еще одно облачко и успел угадать в нем контуры восьмого экскаватора. «Все работают, — отметил он про себя. — Починили...» И удовлетворенно, загадочно улыбнулся, довольный и тем, что починили, и тем, что он как бы причастен к этому через услышанный телефонный разговор. Он снова подумал, что ничего еще не добился, что ему определенно и убедительно отказали повсюду и в Аносовскую он едет на авось. И снова ни на миг не пожалел о содеянном. Потому что... ведь он не просто катил сейчас по дороге, которой не было еще для пассажиров и грузов, но прикасался душой, разумом, всей своей начинающейся жизнью к явлению значительному.

Игорь предупреждающе подтолкнул Петьку, скосил глаза в сторону мелькавших за окном лиственниц. Парторг отодвинулся от стекла, сказал репортеру:

— Смотрите внимательнее. Слева будет просека старой дороги.

Тот выжидательно вскинул аппарат, замер, глядя в желто-бурую, уже по-осеннему поредевшую здесь тайгу.

Дорога торопилась к станции с горячим и не случайным названием Штурм: брали ее строители, как в бою, — штурмом. Торопилась, и в этой своей стремительности была необыкновенно красива. Аккуратно отсыпанная, словно демонстрирующая четкость своих линий и точность пропорций, с серебристо-серым отливом стали на рельсах и мохнатым утренним куржаком на новеньких ровных шпалах, она вдруг как-то незаметно чуть подалась к востоку и открыла на

мгновение неширокую просеку без дороги, без какого-либо следа ее, даже без колесной колеи или тропинки. Рассекала тайгу мертвая песчаная полоса и угрюмо стояли вдоль нее расступившиеся сорок лет назад лиственницы.

О старой дороге, проложенной в тридцатые годы в этих местах как раз от Бама до Тынды, Петька немного знал. Читал в «Юном технике». Он попытался представить только что увиденную мертвую просеку такой же вот звенящей рельсами магистралью, с дымками паровозов над тайгой, с веселым перестуком колес — и не смог.

Перед самой войной прошли по дороге Бам — Тында первые поезда, а в 1942 году ее разобрали, перевезли через всю страну и уложили под Сталинградом Волжской рокадой. Вот, оказывается, как: не только люди уходили на фронт, не только пушки и танки... Поднялась с амурской земли проложенная великим трудом 180-километровая железная дорога и тоже ушла на фронт. Приняла на себя и огонь, и военные грузы, понесла, покачивая на своих частых стыках, смерть врагу, а в обратный путь повезла из пекла, спасая, санитарные эшелоны.

— Станция «Орлы», — услышал Петька и поразился тому, как глухо прозвучал голос Кузнецова.

— Где? — не понял он.

— Вот здесь...

Он ничего не увидел, кроме низкой сырой поляны и серых камней, правильными прямоугольниками торчавших из земли.

— «Орлы»? — переспросил репортер, и удивительно гордое это название болью отозвалось в Петьке. «Вот она, станция», — догадался он и потом, когда скрылась поляна, еще долго видел эти заросшие серые развалины — фундаменты двух-трех небольших зданий, по-видимому, деревянных, иначе уцелели бы и стены. И была для него эта умершая станция очевидными — достовернее документальных снимков — следами войны, отгоревшей на земле задолго до его рождения.

Новая дорога весело, звонко бежала то по старой просеке — вновь отсыпанная на оплывшем, сравнявшемся с землей полотне, то по новому пути, пробитому в тайге, в сопках соответственно последним — проверенным-перепроверенным — указаниям изыскателей, а то выскакивала на высокий бетонный мост с лепным изображением государственного герба и даты: 1934... Мосты тридцатых годов в отличие от нынешних были массивными, громоздкими и величавыми. Петька смотрел на них жадно, восторженно, потому что они, как и старые оплывшие просеки, были из легенды. Из легенды, которая оживала у него на глазах.

ОКОНЧАНИЕ СЛЕДУЕТ



● **Экскурсия  
в прошлый  
век**

● **Просо  
для солдатской  
каши**

● **Где же вы,  
друзья-одно-  
полчане?**

● **Янтарный  
берег**

● **Мечтавший  
о Луне**

«Екатеринбургский уездный Училищный Совет сим удостоверяет, что Коряков Иоанн Саввин из крестьян Бобровской волости успешно окончил курс учения...» Этот документ на гербовой бумаге с царскими знаками, витиеватыми росписями и множеством «ятей» относится к 1895 году.

В этом году была открыта в деревне Бобровке школа — «прародительница» нынешней школы-восьмилетки поселка Бобровское Арамильского района Свердловской области. Следопыты установили имя самой первой учительницы. Ею была Лидия Михайловна Попова, дочь священника, открывшая в селе воскресную школу, в которой преподавала до 1918 года. Ребята собрали много документов-свидетельств о деятельности учителей-подвижников в конце прошлого века.



Заметка в «Казахстанской правде» за 1942 год рассказывала о знаменитом просоводе Чаганаке Берсиеве. Бойцы в этой заметке благодарили героя тыла за ударный труд, а Ч. Берсиев в ответном письме обещал в будущем году собрать на своем участке урожай проса в 200 центнеров с гектара. Следопыты из Актюбинска, отыскавшие эту заметку, выяснили: свое слово Чаганак сдержал. За годы войны он сдал государству 35 000 тонн проса!

Подвигу тружеников

тыла посвятили казахстанские ребята свою экспедицию «Трудовая доблесть».



Пионерская дружина в деревне Камеево Мишкинского района Башкирской АССР носит имя Героя Советского Союза Егора Орсаева. Он получил высокое звание за бои на Одерском плацдарме в 1945 году; после войны вернулся в родную деревню, был председателем колхоза.

Ребята разыскали однополчан Егора Орсаева — Исаю Исанбаева, Дмитрия Ансатарова, Шаркаю Юмашева, Павла Осиева, Федора Белова... Бойцы славной 214-й стрелковой дивизии переписываются со школьниками, приезжают к ним в гости. Старые раны обрвали жизнь Егора Орсаева... Но живы его фронтовые товарищи, и ребята считают за честь докладывать им о делах своей школы.



Это был гениальный человек. Независимо от Циолковского, он вывел основные уравнения движения ракеты, предложил полеты к Луне и другим планетам с выходом на орбиту их искусственных спутников и последующим отделением легкого, энергетически выгодного взлетно-посадочного устройства. Примерно такая программа и была

осуществлена в космических полетах. Именем этого пионера космонавтики назван кратер на Луне.

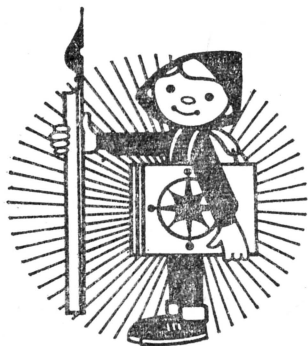
Но нам бесконечно дороги и земные следы Юрия Васильевича Кондратюка, который погиб в начале 1942 года, защищая Москву...

Учащиеся средней школы № 20 в станице Октябрьской Краснодарского края собрали сведения о разных периодах жизни Ю. В. Кондратюка, записали рассказы старожил и воспоминания виднейших ученых, знавших его лично. В школьном музее есть и знаменитая на весь мир его книга «Завоевание межпланетных пространств».

По примеру школьников открыли музей и на Октябрьском элеваторе, где Кондратюк в двадцатые годы работал механиком.



Многие сотни километров отделяют сахалинский берег от нашего знаменитого янтарного месторождения вблизи Калининграда, и запасы янтаря здесь, конечно, не столь велики... Юные геологи Южно-Сахалинска, обследовавшие побережье залива Терпения, не напрасно вели поиск: море преподнесло дары — вот он, сахалинский янтарь!.. Он необычен — темно-красный, сочного оттенка. И все же это та самая ископаемая смола хвойных деревьев, «растительный» камень, хранимый природой со времен неогена и палеогена.



**следопытская**

**хроника**

# ШЛЕМ ТАНКИСТА

**Александр  
КОРАБЕЛЬНИКОВ**



Ясным весенним днем мы с ним пришли к танку, водруженному на постамент. Он долго стоял в неподвижности, опершись руками на костыли.

Потом мы сели в его «Запорожец» с ручным управлением и поехали в музей.

По дороге он вспоминал.

Парнем я был горячим. Работал после ремесленного дизелистом на буровой. Шел сорок четвертый год, наши вот-вот в Германии будут, а у меня от армии «бронь». Неужели, думаю, так без меня и добьют фашистов?!

Исполнилось мне семнадцать, пишу заявление в военкомат — прошусь на фронт добровольцем. В военкомате прислушались. Поскольку с дизелями дело имел, послали в школу механиков-водителей танков. Кончил ее по сокращенной программе, получил погоны старшего сержанта, новехонький танк с завода и в декабре сорок четвертого прибыл с ним к месту назначения, на Сандомирский плацдарм 1-го Белорусского фронта, в сорок восьмую гвардейскую Вавнярскую Краснознаменную бригаду Второй танковой армии.

Построили нас. Сам полковник приехал знакомиться с пополнением. Идет вдоль строя, здороваются. Подходит ко мне. Спрашивает, как звать.

— Борис Шукин, товарищ гвардии полковник! — отвечаю ему по всей форме.

А я роста был небольшого, полтора метра с шапкой, что называется, да изголодался за дорогу порядком, так что вид у меня и впрямь был неказистый.

— Вот что... Борис, — говорит мне полковник. — Передашь свою машину товарищу, а сам пока в резерве побудешь. Подкормишься.

Вот, думаю, здравствуйте!.. За тысячи километров я этот танк привез, чуть ли не языком каждый его болтик вылизал, и отдавай его яде, который, может, только тем и лучше тебя, что вымахал с коломенскую версту. И такая меня обида взяла, что иду по расположению бригады и слезы в глазах. И тут вижу, стоит

мой бывший танк, а у него на башне валяется новенький такой меховой шлем. А у меня на голове летний — матерчатый, на рыбьем меху. Ну, думаю, вы у меня машину отняли, так я у вас хоть шлем этот сопру...

Потом мне полковник как-то сказал: «Видно у тебя, Шукин, болезнь такая. Клептоманией называется. Не можешь мимо того пройти, что плохо лежит...» Но сказал это он шутя и совсем по другому поводу.

Это уже в Германии было. Я в разведбате тогда служил. Вызывают наш экипаж к комбату и приказывают выяснить обстановку на участке автострады Брест — Берлин.

Сели, поехали.

Немцы тогда километров по семьдесят в день отступали, так что мы едва попевали за ними.

Ехали с ветерком, вдруг сбоку из леска — болванкой по нам. Хорошо еще, что мимо. Я подал танк назад, в кювет спрятались, ждем. Смотрим, из-за деревьев самоходка показывается. Нас пушкой ищет. А сама — как на ладошке. Ну, тут наш башнер не растерялся и влил ей пару горячих. Подождали — нет ли других? Нету. Дальше поехали. Глядим — впереди шоссе бомбой разбито, и сбоку от воронки на болотистой луговине «Фердинанд» прямо в душу нам пушкой смотрит. Я мигом в сторону. Развернули башню. Ну, думаю, теперь — кто скорей выстрелит!.. А самоходка как стояла, так и стоит. Никакой жизни не подает. И мы поостыли. Думаем: если начнет разворачиваться — выстрелить мы всегда успеем. А что, если ее немцы влопыхах бросили? Стоим друг против друга пять, десять минут. Осмелели. Из танка вылезли, подползли к «Фердинанду». Так и есть — пустая машина. Залез я в нее, стал в управлении разбираться. Потянул какую-то «грушу» — как трахнет! У меня аж сердце в пятки ушло. Оказывается, я невзначай из пушки выстрелил. Разобрался, наконец, в управлении. Запустил двигатель, а самоходка — ни с места. Увязла в болотине. Выключил я мотор, и тут







Борис Васильевич Шукин. Фото Б. Максимова.

Советские танки в Берлине. Второй слева — гвардии старший сержант Борис Шукин. Снимок сделан за несколько дней до Дня Победы.



слышим: «з-з-з» — танки гудят немечки. Ребята с самоходки горохом посыпались, кричат мне: «Да брось ее! Не слышишь — немцы?»

Как бы не так, думаю. Зацепил самоходку тросом, выволок на шоссе, и тогда уж дали мы драпу!

Вот такая вышла разведочка. Одну самоходку у фашистов сожгли, другую увели у них из-под носа и обстановку на шоссе выяснили.

Не всегда, конечно, так гладко бывало. Доставалось и нам. Я сам, пока служил в разведбате, не одну машину сменил. Однажды в такой переплет попали, что чудом живыми вырвались. Случилось это в Померании возле Альтдама. Шли колонной: рота самоходок и два танка. Я — в головном. Мой товарищ по танковой школе — в замыкающем. И за мостиком устроили нам немцы засаду. Поставили зенитки по обем сторонам шоссе и прямой наводкой, пачками, — по нашей колонне. Умно, гады, действовали. Сперва подбили замыкающий танк, потом, как спи-



ечные коробки, стали жечь самоходки. А мы на лугу перед ними, как на блюдечке. С боков — пушки, спереди — пушки, а сзади — взорванный мост.

Командир экипажа младший лейтенант Николай Вахменин спрашивает:

— Сможешь проскочить вброд через речку?..

— Смогу...

Развернулись, и, прячась за разбитыми самоходками, зигзагами — к речке. Вот уже с замыкающим танком сравнялись. Машина горит, а из переднего люка танкист свешивается по пояс. Механик-водитель. Товарищ мой. «А может, жив? — думаю. — Как же я тебя брошу тут?» Подогнал свой танк лоб в лоб к его танку, открыл люк. Смотрю, и верно — живой. Не помню уже, как я перетянул его к себе в люк, помню только, что пока тащил, танк раза три как трянуло, что думал: ну, и самим конец!..

Когда все-таки прорвались к своим, минут десять из танка не мо-

гли вылезти — ноги дрожали. А вылезли, поглядели на танк и еще страшней стало. Будто черти на нем горох молотили. По всей броне вмятины. Ткнул пальцем в одну, а палец как сквозь бумагу прошел. Честное слово!

Уже под Берлином стояли мы в одном фольварке. И была там пасека. Я не удержался, попробовал меду из улья. А когда пробовал, меня пчела укусила. И не куда-нибудь, а в язык. И стал он у меня как жернов — слова сказать невозможно. Как назло, тут вызывают меня в штаб бригады. Адьютант говорит, что танк полковника подбит и что пока полковника возить буду я.

Я молчу.

— Что, язык у тебя отнялся? — спрашивает адъютант.

Кто-то из моих дружков объяснил, почему я молчу. Адъютант захотел и — к полковнику.

Выходит сам. Тоже смеется:

— Ну, Шукин, все думали, что

ты, наконец-то, повзрослел, ведь вся грудь в медалях! Натекла, что выдумал: по чужим ульям лазить!..

И потом при всяком удобном случае припоминал мне тот мед и пчелу ту фашистскую. Хорошо еще, что танк его скоро отремонтировали, и он опять на него пересел. А на память о том, что возил я полковника, остался красоваться на моем танке опознавательный знак машины командира бригады. Смыть его никому в голову не пришло — время было горячее, Берлин уже штурмовали.

Этот-то знак, видно, и соблазнил того «королевского тигра», что стоял вкопанным в землю на подступах к Александерплац — центральной берлинской площади.

Наш танк шел вторым. Головную машину «тигр» пропустил без выстрела. Ударил по нашей. Первая болванка сорвала лобовой люк. Я еще дернул свою «тридцатьчетверку» назад, но было поздно. Только

увидел, как из ствола «королевского тигра» расходятся огненные круги, да успел подумать, что мало я все-таки повоювал — всего пять месяцев — и вот, не дожидаясь победы... Вторая болванка вклинилась точно в стык лобовой брони.

Однако выжил.

Месяца через три гуляю по Берлину на костылях. Вижу, идут наши офицеры, один вдруг отделяется от группы и — ко мне:

— Борька!.. Живой!..

Гляжу — Николай Вахменин.

— Мы же думали — тебя убило! Писарь похоронку уже послал.

Приехали в штаб бригады. Обнял меня полковник.

— Ну, Шукин, удивил ты нас еще раз... С того света живым вернулся! Ну, поздравляю с награждением вторым орденом Красной Звезды... «Посмертно».

А еще через пять лет, когда я учился в Нижнетагильском художественно-промышленном училище, догнал

меня еще один орден — Отечественной войны.

Мы стояли с ним в зале Великой Отечественной войны Пермского краеведческого музея. Разглядывали выдавший виды зимний танкистский шлем, походный бинокль механика-водителя Бориса Шукина и фотографию, под которой было написано: «Советские танки в Берлине. Второй слева гвардии старший сержант, ныне пермский художник Борис Васильевич Шукин».

Фотография была сделана тридцать лет назад, всего за несколько дней до светлого Дня Победы.

На 1-й стр. вкладки  
фото Б. Максимова



## КЛИМАТИЧЕСКИЕ РЕКОРДЫ УРАЛА

Более чем на 1200 км тянется Урал с севера на юг и почти на 1000 км с запада на восток. Значительны различия в климате этой огромной территории. Вот лишь некоторые из климатических рекордов Урала.

Максимальная высота снежного покрова зафиксирована в Бисере Пермской области — 147 см.

Минимальная высота снежного покрова отмечалась в Курганской области — 9 см.

Самый поздний заморозок наблюдался 20 июля 1957 года в Нижнем Тагиле.

Самая ранняя дата установления снежного покрова — 22 сентября — отмечена в Бисере Пермской области.

Самая ранняя дата схода снежного покрова — 22 марта (Нижний Тагил), самая поздняя — 13 июня (Тукан, Башкирия).

Среди городов рекорд по ветру держит г. Уфа — 58 дней.

Меньше всего дней с сильным ветром отмечено в Верхней Косье Свердловской области — 4 дня.

Самое большое число дней в году с туманом зафиксировано на станции Инзер в Башкирии — 89 дней. Из горных станций больше тумана на Тагане — 269 дней.

Рекордное количество грозных дней в году зарегистрировано в Архангельском (Башкирия) — 51 день.

Больше всего светит солнце в г. Троицке Челябинской области — 2218 часов в год.

Наименьшее число часов солнечного сияния наблюдалось в г. Красновишерске Пермской области — 1518 часов.

Абсолютный минимум температуры воздуха зарегистрирован в поселке Растес Свердловской области — 55°.

Абсолютный максимум температуры воздуха (+42°) отмечался в Южноуральске Челябинской области.

Наименьшая глубина промерзания почвы в конце зимы отмечалась в Чердыне Пермской области — 11 см.

Наибольшая глубина промерзания почвы — 235 см — отмечена в Петухово Курганской области.

Самый сильный ливень прошел в Нязепетровске Челябинской области 17 августа 1963 года. За сутки на город вылилось 137 мм осадков (более двух месячных норм).

Один из сильнейших снегопадов (с суточным количеством осадков 68 мм) прошел 20 октября 1962 года в г. Миньяре Челябинской области.

Очень крупный град с размером отдельных градин до 5 см отмечен в Златоусте Челябинской области и Невьянске Свердловской области.

Самый интенсивный дождь прошел в г. Свердловске 16 августа 1963 года. За 5 минут выпало 3,5 мм осадков.

Максимальная скорость ветра — 180 км-час зарегистрирована в Камышлове Свердловской области 17 мая 1965 года.

В. КАЛИШЕВ



БОЕВОЙ ПУТЬ  
УРАЛЬСКОГО  
ДОБРОСОЛНЧЕСКОГО  
ТАНКОВОГО  
КОРПУСА  
1943 - 1945 ГОДЫ

ОРЕЛ

УНЕЧА  
КАМЕНЕЦ - ПОДОЛЬСК  
ТЕРНОПОЛЬ  
ЗОЛОЧЕВ

ЛЬВОВ

ПЕРЕМЫШЛЬ  
КАЛЬЦЕ

ПЛОТСКУВ

ШТЕЙНАУ

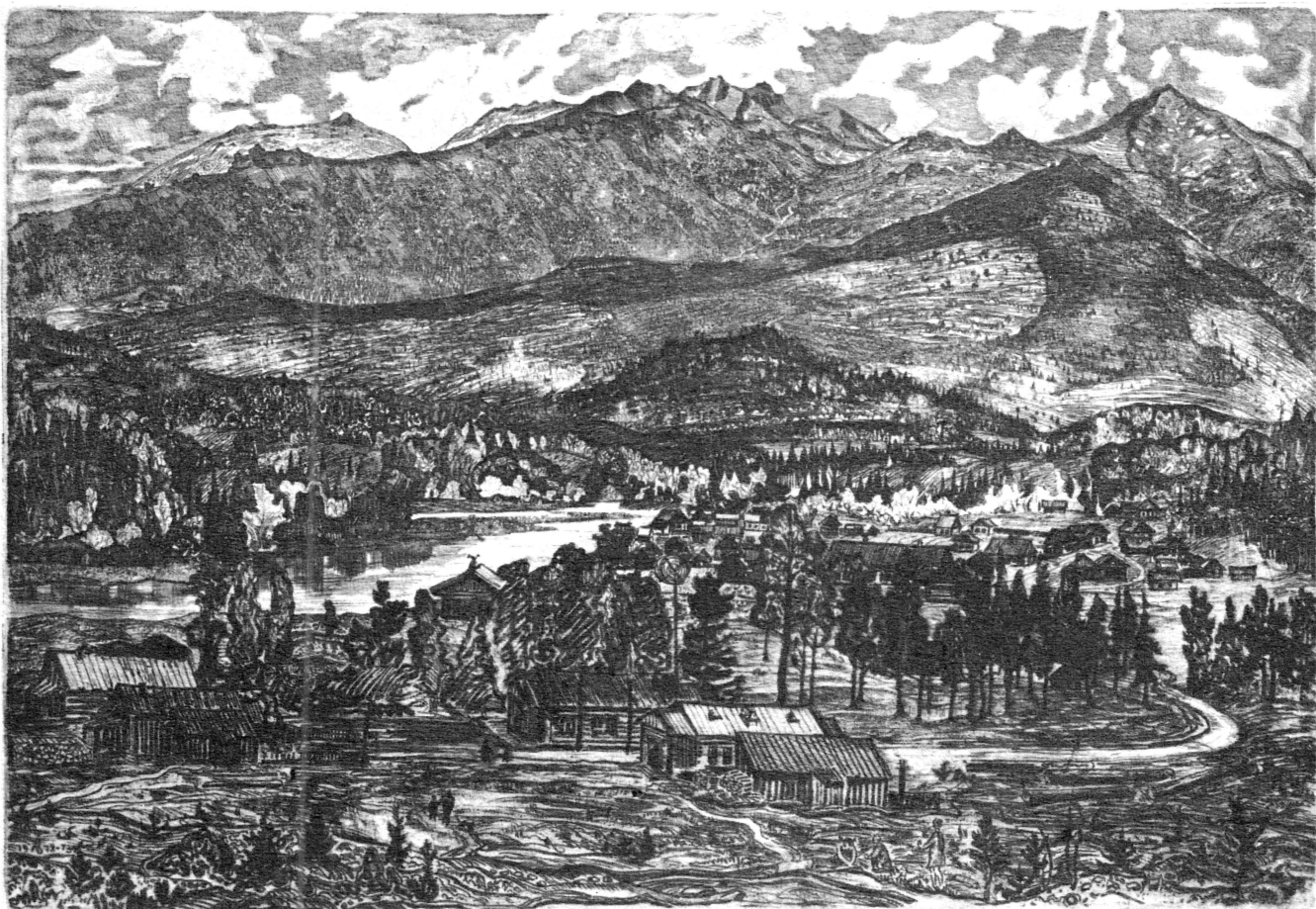
КЕБЕН

РАТИБОР

БЕРЛИН

ПРАГА





КАКВИНСКИЕ ПЕЧИ. Офорт

## ДВЕ ТЕМЫ...

Бревенчатый дом стоит на взгорье, и в окна его широко видны светлое озеро, дальние гористые берега, сосны, подступающие к заливу, крутая каменная дорога, уходящая в небо.

Дом просыпается рано, с первым солнцем. Рано начинается и рабочий день у Льва Павловича Вейберта. Кажется, больше успеешь, если не упустишь эти свежие утренние часы.

Что на сегодня? Продолжить ли начатую гравюру? Печатать ли уже законченную?... День продуман еще с вечера. Но бывает и так, что какая-то необычность рождающегося дня вдруг цепко захватит внимание, и строгий план, намеченный на утро, потеснится, а рука потянется за карандашом, чтобы сделать набросок...

Две темы в работах Вейберта соседствовали с самого начала его творческого пути: индустриальный Урал и Урал в его неповторимой природной многоликости.

Однажды, еще мальчишкой, он с группой туристов пошел на Конжаковский Камень — один из самых высоких горных массивов на севере Свердловской области. Склоны, изрезанные глубокими долинами, хвойный лес, не осиливший подъема и замерший на полпути к вершине, дикие скалы и гремучие россыпи, необъятная даль, открывающаяся взору, воздух, обжигающий горло, как родниковая вода,— все это поразило, запомнилось, легло штрихами, взволнованностью в маленький блокнотик. Впоследствии Конжаковский Камень стал в его гравюрах (а может быть, и вообще в жизни) символом той высоты, к которой нужно упорно идти, как к истине, независимо от трудности и крутизны подъема. Идти, не останавливаясь, настраивая себя и сердце на перегрузку и твердо веря, что когда-то придет второе дыхание.

А индустриальный пейзаж и искать не нужно было — он составлял





РАЗРЕЗ. Лист из серии «Карпинские горизонты». Офорт

неделимое целое с Карпинском, городом угольщиков, в котором долгое время жил художник. Угольные разрезы, кругами ступеней уходящие в недра, такие грандиозные открытые разработки, что по сравнению с ними даже мощный шагающий экскаватор — этот флагман добывающей индустрии — кажется игрушечным. А уж фигурки людей — вовсе точки. И это сопоставление невольно говорило о том, насколько же силен человек, если способен тонна за тонной выбрать такие космические цирки.

Известны гравюры Вейберта, посвященные северным городам Урала — Красноуральску, Североуральску, Карпинску. В них — новый облик этих городов-тружеников, их красота и суровость.

Лев Павлович участник многих выставок. Его гравюры, посвященные Уралу, получили широкое признание. Он достиг отточенного мас-

терства. Но пришло ли второе дыхание? Легче ли теперь, когда талант соединился с опытом? Вряд ли. Ведь неотъемлемый признак зрелости — это растущая требовательность к себе, тот внутренний критик, который чем дальше, тем строже.

Неизгладимое впечатление на Вейберта произвело знакомство с Геннадием Райшевым, самобытным художником-хантом. От своего народа Райшев унаследовал чувство слитности с природой, глубочайшее уважение к ней. Он так умеет об этом говорить, так утверждать это в своих рисунках, что нельзя остаться равнодушным. И наверное он способствовал тому, что в творчестве Льва Павловича некогда раздельно существовавшие две темы — индустрии и природы — пришли в соприкосновение, а в некоторых работах даже пересеклись в критической точке. Человек — хозяин на земле. Но он должен быть

мудрым и рачительным хозяином. Иначе он оставит потомкам сухие реки и безмолвные плато там, где некогда шумели, споря с ветром, величавые сосны и лиственницы...

Лев Павлович живет сейчас в поселке Калиново, на берегу живописнейшего озера Таватуй, под Свердловском. Он интересный собеседник и радушный хозяин. Собратья по труду часто приезжают к нему в гости и поработать. А если кто из молодых обращается за советом, Вейберт увлеченно и горячо делится опытом.

За плечами — полвека. А впереди — все та же трудная, увлекательная дорога, замыслы и свершения. И страстное желание работать.

Лев РУМЯНЦЕВ



ГОРНЫЙ РУЧЕЙ. Офорт, акватинта  
Лев ВЕЙБЕРТ

# ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ УЧЕНЫМ?

## Письмо к молодому современнику

**Марк  
ПОПОВСКИЙ**

Рисунки  
В. Домрачева

**ДОРОГОЙ ДРУГ!**

Я слышал, ты собираешься стать учёным. Так ли это? Тебя часто видят в городской библиотеке. Ты читаешь специальные книги и даже завел дома лабораторию. Ну, что ж, в добрый путь. Говорят, правда, тебя смущает твой возраст, то, что ты пока только школьник старшего класса. Это не беда. В науке молодость не помеха. Я знал мальчишку-школьника в Латвии, любителя астрономии, который открыл новую звезду, и другого паренька, предложившего метод расшифровки языка индейцев майя. Да и в «большой науке» молодые не раз уже оказывались среди первых. Исаак Ньютон до 25 лет успел завершить исчисление бесконечно малых и вывести закон тяготения; реформатор анатомии Андрей Везалий написал основной своей труд в 28 лет; Карл Линней, творец первой ботанической классификации, создал теорию размножения растений в 24 года.

Может быть, ты думаешь, что так было только в прошлые столетия? Ничего подобного! Великий физик двадцатого века Энрико Ферми стал профессором Римского университета и крупным ученым в области атомной проблемы уже в 25 лет; в 28 лет Ирен и Фредерик Жолио-Кюри стояли на пороге открытия искусственной радиоактивности; отец кибернетики Норберт Винер вошел в науку еще раньше. Десятки «ранних» и «сверхранних» находим мы в советской науке. Лев Ландау (ты ведь слышал об этом великом физике?) возглавил кафедру теоретической физики в 24 года; до тридцати заявили себя крупными исследователями биолог Николай Вавилов, физик Игорь Курчатов, авиаконструктор Александр Яковлев. Конечно, все, кого я перечислил здесь, — люди выдающиеся. Но и рядовому научной армии приходится в наш век поспешать, если он действительно хочет чего-то успеть.

Итак, ты решил стать ученым, но стесняешься пока признаваться в своей мечте. Почему же? Может быть, ты считаешь ее слишком необычной, фантастичной? Боишься, что товарищи начнут дразнить тебя, а родители скептически пожмут плечами, дескать: «Ишь, куда залететь собрался... Не в профессора ли метишь?» А почему бы, собственно, и не стать доктором или профессором? Может быть, у тебя в голове роятся замечательные идеи по части геологии или археологии, металлургии или медицины? Пускай даже не идеи, а пока только живой интерес. Интерес к научным проблемам — тоже дорого стоит! Так что если друзья станут смеяться над твоим желанием добиться успеха в науке, скажи им: ученый в наш век совсем не такая уж редкая профессия. Ни один род занятий не получил в XX столетии такого широкого распространения. Покажи им статистический сборник, чтобы они убедились: перед первой мировой войной в России было всего около 11 тысяч ученых (вместе с преподавателями университетов и институтов); в 1940 году ученых всех специальностей в СССР стало уже 93 тысячи. А к 1973 году число людей, занятых исследовательской деятельностью, достигло около одного миллиона ста восьми тысяч! Как видишь, каждые четверть века армия искателей истины увеличивала свои ряды в десять раз!

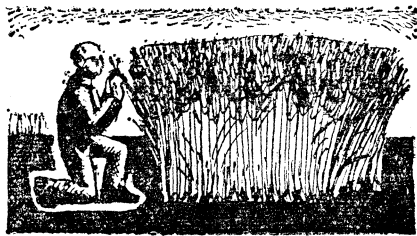
**Итак, дерзай!**

Хотя постой. Прежде чем ты примешь окончательное решение, послушай, что я расскажу тебе о твоём будущем деле. Нет, я не ученый. Но почти три десятка лет пишу я книги, очерки и статьи о людях науки. Мне повезло беседовать со многими знаменитыми исследователями, побывать в институтах, клиниках, лабораториях от Владивостока до Риги, от Краснодара до Красноярска. То, что я расскажу тебе, — итог не только моей жизни, но многих жизней, прожитых в науке. Прочитай эти строки: может быть, опыт прошлых поколений пригодится и тебе.

---

Марк Александрович Поповский — писатель, автор ряда научно-популярных книг, очерков об ученых — физиологах и хирургах, генетиках и микробиологах. Он много пишет об ответственности ученого перед обществом. Живет в Москве.





У меня есть очерки о самых разных ученых: о хирургах, фармакологах, физиологах, о генетиках, микробиологах. Но интереснее всего мне было всегда писать о селекционерах, о тех, кто выводит сорта культурных растений, кто, как крестьянин, кормит своим трудом наш народ. Одну свою книгу о селекционерах я так и назвал: «Кормильцы планеты». Ученый-селекционер и крестьянин схожи между собой не только потому, что оба растят урожай сельскохозяйственных растений. Под стать крестьянскому весь труд, характер жизни творца новых культур. Селекционеры, кандидаты и доктора наук месяцами пропадают на полях и опытных делянках, весной и осенью месят грязь на полевых дорогах. Их печет солнце, сечет дождь. Это — пока растение в поле. А после уборки — другая страда: надо изучать образцы семян. Исследование происходит в лаборатории и ученый имеет дело с небольшими вроде бы образцами в 25—50 граммов. Но, как рассказал мне селекционер-кукурузник Михаил Иванович Хаджинов из Краснодара, за зиму ему и его сотрудникам приходится передержать в руках центнеры, а может быть, и тонны семян!

Когда бы я ни приезжал к селекционерам, они всегда заняты, у них всегда неотложные дела: то посев, то скрещивание, то взвешивание урожая. У них и волнений предостаточно: в один год влаги мало, в другой — дожди льют, то муха какая-то съела верхки, то червь пожрал корешки. Но при всем при том герои мои чаще всего люди здоровые, жизнерадостные, доживают до почтенного возраста и до последнего дня сохраняют работоспособность. Откуда все это? От работы же, — отвечали на мой вопрос академик Пустовойт, профессор Писарев и рядовой селекционер по сахарной свекле Савченко, — от бесконечной, тяжелой работы. О том, какова она, эта работа, написано пока очень мало. Между тем широкой публике не мешало бы знать, что на выведение, к примеру, одного нового сорта и на его внедрение в колхозах и совхозах страны селекционер тратит от десяти до пятнадцати лет. Вот

лишь один эпизод из тех, что выпадают на долю творца сортов за это время. Вскоре после войны жил на опытной селекционной станции Отряда Кубанская, неподалеку от Армавира, видный исследователь кукурузы Иван Васильевич Кожухов. В его ведении находилось 13 тысяч собранных со всего света образцов кукурузы, которые он размножал и изучал. О любви Кожухова к этой культуре передавали легенды. Он даже жене своей не раз говорил: «Пойдем, я покажу тебе твою соперницу» и вел ее в поле, где гордо поднимала свои султаны та, которой ученый отдал себя без остатка.

Особенно интересовала ученого так называемая гибридная кукуруза — созданное человеком растение, способное давать на 25—30 процентов зерна больше, чем обычные сорта. Гибриды в те годы только-только появились в нашей стране, и Кожухов берег их как зеницу ока. И вот, когда на его делянках гибриды приготовились завязать зерно, ударила жестокая засуха. Нужна была влага, много влаги, иначе весь труд селекционера, все его надежды шли прахом. В поле для полива кукурузы никаких приспособлений не существовало. Казалось, гибриды обречены. Но ученый решил любыми средствами спасти своих любимцев. На лошади он перевез в поле 500 бочек воды и три дня, не дышая, поливал кукурузу из лейки.

Боюсь, что второго такого случая история селекции не знает. Но даже обычная подготовка селекционных делянок к посеву, которую я не раз наблюдал в Краснодаре и Днепропетровске, мало чем отличается от весенней колхозной страды. Вспоминается жаркий майский день на Кубани. Я — в институте у Михаила Ивановича Хаджинова. Шестидесятипятилетний доктор наук в распахнутой на груди рубашке целый день носится по знойным полям. Здесь он проверяет, как трактор маркирует будущую ниву, там занимается колышками и номерами, которые станут отделять одну делянку от другой, потом бежит куда-то выяснять, будут ли завтра лошади, необходимые для посева. Пот градом катится у него по лбу, очки съехали на кончик носа. Волнение ученого нетрудно понять: весенний посев закладывает основы для всего научно-исследовательского года.

Но вот солнце село и мы, пыльные, усталые, бредем к автобусу, чтобы ехать в Краснодар. Хаджинов, однако, и этот момент не упускает: горячо жестикулируя, он спешит показать мне свои делянки. Этих участков, то больших, то совсем крохотных, много, бесконечно много, кажется им и конца не будет. Осенью селекционеру предстоит проанализировать урожай 1700 выращенных порознь образцов. Кроме того, он

обследует и оценит на корню все то, что вырастет еще на 6000 делянках. За лето предстоит также произвести более 15 тысяч скрещиваний кукурузы. Для того, чтобы успеть в срок исполнить все задуманное, надо вставать на рассвете, трудиться в поле до вечерних теней, не знать ни праздников, ни воскресений. И так всю жизнь.

Но может быть таких усилий требует только селекционная наука? Увы, нет. Громада работы — умственной, физической и просто технической, предшествует каждому сколько-нибудь серьезному научному проекту. Недавно мне попала в руки книга американского исследователя Селмана Ваксмана «Моя жизнь с микробами». Нобелевский лауреат С. Ваксман прославился одним из величайших открытий нашего столетия, он дал миру стрептомицин. «Королем антибиотиков» называют этот препарат. Стрептомицин позволил излечивать чуму, туберкулезный менингит, туляремию. Он был особенно важен для спасения бойцов, раненных в боях против фашизма во время второй мировой войны. Ваксман спешил передать свой препарат людям, однако обстоятельства военных лет были против него. Старые опытные микробиологи шли в армию, в лаборатории остались лишь студенты-первокурсники, не имеющие никакого представления о бактериологической технике. С этими горе-помощниками Ваксману надо было выращивать множество культур грибка-актиномицета, из которого получают антибиотические вещества. «Это была изнурительная работа, которая начиналась ранним утром и кончалась только ночью», — вспоминает ученый в своей книге и приводит некоторые расчеты:

«Нам пришлось изолировать около 10 000 различных микробных культур, которые мы подвергли потом испытаниям на антибактериальное действие. Только десять процентов из них обладало такой способностью. Это сводило число культур к тысяче. Мы выращивали их в жидких питательных средах с тем, чтобы выделить грибки, способные спонтанно (самостоятельно) выделять интересующие нас вещества. Таких тоже оказалось, примерно, десять процентов. Оставалось сто культур. Но мы все еще не знали, какие именно вещества по химическому и физическому составу выделяют эти культуры. Началась новая серия опытов по выделению и очистке препаратов, в результате чего осталось около десяти сколько-нибудь пригодных составов. Теперь предстояло испытать их на животных. Опыты в виварии убеждали нас, что одни антибиотики слишком токсичны, другие, наоборот, недостаточно активны. В конце концов, стрептомицин оказался единственным средством из



десяти тысяч других, которое нас удовлетворило».

Таков адский (и, добавлю, неизбежный) труд, сопровождающий поиски антибиотиков. Кстати сказать, в следующие десять лет после открытия стрептомицина лаборатория Селмана Ваксмана испытала по указанной выше схеме еще сто тысяч микробных культур!

Обратите внимание: профессор Ваксман вовсе не жалуется на тяготы, связанные с открытием. Да настоящему ученому и в голову не приходит сокрушаться о слишком тяжелом труде, когда дело идет о науке, об открытии. Скорее наоборот. Луи Пастер так любил работать в лаборатории, что даже называл время ночного отдыха «часами ожидания». Трудлюбие и сверхтрудолюбие настолько всегда сопутствуют научной удаче, что американский писатель Поль де Крюи (Крайф), автор многочисленных книг об ученых, желая наилучшим образом охарактеризовать одного из своих героев-экспериментаторов, написал, что тот «делал все пятьдесят опытов там, где сорока восьми было совершенно достаточно». Так было всегда. Исаак Ньютон пятнадцать раз переписывал свою «Оптику». Известный французский естествоиспытатель XVIII века Бюффон в течение почти полувека не изменял однажды заведенному порядку своей жизни: он проводил за письменным столом шесть часов с утра и столько же после обеда. Его «Естественная история», принесшая ему громкую славу (в ней естествоиспытатель описал мир нашей планеты от минералов до человека), насчитывала 36 томов! Уже в глубокой старости Бюффон так говорил о труде ученого:

«Изобретения зависят от терпения, надо видеть, долго рассматривать свой сюжет; тогда он постепенно раскрывается и разворачивается, вы чувствуете как бы небольшой удар электричества в голову, и в то же время он у вас захватывает сердце. Вот момент гениальности! Тогда-то чувствуется радость труда, столь большая радость, что я проводил 12—14 часов за работой. В этом было все мое удовольствие».

Так через века и народы проходит это страстное чувство: любовь к исследовательскому труду, тяжело-му, порой неблагодарному. Конечно, по этому поводу можно сказать: «Своя ноша не тянет» — делать «свое» исследование или открытие всегда приятно и оттого не обременительно. Но для объяснения любовного отношения большинства ученых к труду есть также и объективная причина. Каждый исследователь знает: без напряжения, без усилий ни одно открытие попросту не может осуществиться. Труд — неизбежное и обязательное условие существования самой науки. Понять эту истину, а

затем и принять ее — это уже половина дела для того, кто вступает на путь научного поиска. Могут сказать, что в двадцатом веке для крупного открытия, изобретения надо меньше труда, чем, например, в прошлом столетии: ведь в распоряжении ученого появились счетно-решающие машины, многочисленные автоматические анализаторы и другие механические помощники. Это верно, но лишь отчасти. ЭВМ и другие приборы берут на себя с каждым годом все большее число технических операций. Но одновременно и объем научных поисков растет из года в год. К примеру сказать, в индустриально развитых странах ищут лекарства, фармакологи, подвергают ежегодно исследованию на лекарственную активность сотни тысяч химических соединений. В результате такого огромного «просеивания» («скрининг» — так называют этот метод англичане) в среднем удается выловить с десяток ценных лекарств. Примерно то же происходит и в селекции. Ученый, который хочет в середине 70-х годов XX века поднять качество и количество белка в зерне культурных растений, вооружен сегодня тончайшими белковыми анализаторами. Аппараты действительно облегчили труд специалистов. Селекционера М. И. Хаджинова, например, обслуживает ныне целая лаборатория биохимиков, выдающих в год более сорока тысяч анализов. Но и масштабы селекционных опытов возросли в Краснодарском институте сельского хозяйства соответственно. Лентяям природа по-прежнему своих секретов не выдает!

## За что уважают старших?



Время летит быстро, дорогой друг. И совсем недалеко тот день, когда заведующий X-лабораторией пригласит тебя в свой кабинет для деловой беседы. В конце разговора он скажет: «Ну, что ж, молодой человек, вы нам подходите. Подавайте документы». И ты, счастливый, помчишься в нотариальную контору снимать копию диплома. И еще в фотографию — за снимками 3×4. Одна из них украсит твое первое

служебное удостоверение с пометкой: «старший лаборант» или (если повезет!) «младший научный сотрудник». А потом начнутся будни. Трудные, содержательные, интересные, но все-таки будни. Тебе придется осваивать методики, аппаратуру и... привыкать к руководителю, к новому коллективу. А это тоже наука. Ибо люди разные и характеры у них разные. И тут, друг мой, мне хочется предостеречь тебя от одного очень соблазнительного искуса: ворчать на всех, кто достиг в науке более высокого положения, чем ты. Поскольку в лаборатории сначала ты будешь самым молодым и самым начинающим, то недовольство старшими может привести тебя к раздражению против всех вокруг. Я надеюсь, однако, что с тобой этого не случится. Ведь завистливо ворчать обычно те, кого не слишком интересует сама наука. А ты пришел в лабораторию, чтобы знать и уметь. Не так ли?

Возможно, однако, что ты встретишь в своей жизни людей, которые под свое ворчание пытаются подвести, так сказать, «теоретическую базу». Один мой знакомый М. Н. С., раздраженный за что-то на заведующего лабораторией, высказывался в том смысле, что «в науке абсурдна всякая иерархия. Перед знанием все равны». Другой младший научный ставил под сомнение необходимость научных степеней вообще. Левенгук и Кеплер, — говорил он, — диссертаций не писали, а науку делали...

Давай разберемся в этих суждениях. Начнем с того общеизвестного факта, что наука всегда знала младших и старших, система ученичества существовала со времени Платона, а может быть, и раньше. Равенство в науке? Отличная мысль. Но если она и возможна, то лишь в том смысле, в каком его упоминает академик-геохимик В. И. Вернадский. «В основе науки, — писал Вернадский, — лежит для всех равная и обязательная сила научных фактов». Такое равенство действительно можно и нужно отстаивать. Кстати, в коллективе, где сложилась нормальная творческая атмосфера, за это и бороться не приходится. «Я помню, — пишет академик Н. Н. Семенов, — когда 16-летний Яша Зельдович (ныне академик), только что поступивший в наш институт лаборантом, после доклада очень талантливого заведующего лабораторией, выступил на Ученом совете, что экспериментальные результаты доклада неправильно интерпретированы докладчиком. Юный Зельдович дал свою интерпретацию... В ходе дискуссии все мы, и в том числе докладчик, начали понимать, что прав он». По словам Н. Н. Семенова случай этот не только не омрачил отношений лаборанта с заведующим лабораторией, доктором наук, а наоборот,

сделал их отношения в дальнейшем весьма дружественными. Восторжествовала равная и обязательная для всех «сила научных фактов».

Да, перед обособленным научным фактом все исследователи — старшие и младшие — равны. Но есть еще различие способностей, разница знаний, опыта. Что же удивительного, если старшие (по количеству лет и накопленным знаниям) руководят теми, кто приобщился к науке позднее? Возникающая при этом «иерархия», в конце концов, не вечна: вчерашний аспирант завтра станет кандидатом, а послезавтра, если хватит сил, таланта и энергии, — доктором.

Итак, всегда, насколько можно проследить, существовали мастера и подмастерья науки. Само по себе это обстоятельство вполне естественное. Вопрос лишь в том, справедливы ли старшие оценивают способности и знания подрастающего поколения, помогают или мешают его естественному продвижению. Проблема эта не частная и не только личная. От того, насколько и как ладят между собой научные поколения, во многом зависит окончательный продукт научного творчества — появление открытий, изобретений. Кто же они — профессор и ассистент, заведующий лабораторией и лаборант с институтским дипломом — друзья или враги?

Я уже говорил: по самой сути своей молодые всегда были и остаются ростовой точкой науки. Но признание, ученые степени и руководящие посты молодежь получает из рук старших коллег. Молодому человеку еще надо доказать свое право на ассигнования, на командировки, на аппаратуру. И старший в какой-то момент может оказаться препятствием на пути юного исследователя. Это вовсе не обязательно. Но такое случается. И тут зародыш конфликта. Не станем бояться этого слова, ибо конфликт сей так же стар, как сама наука. Важно лишь, какими методами спорят между собой поколения и что в споре отстаивают — истину или должность. Я бы даже сказал, что спорить в науке необходимо. Младший сотрудник, если он утратит критическое чутье и станет только поддакивать старшему, может, в конце концов, полностью потерять себя как ученый. Поддакивают, как правило, люди малоодаренные. Мне куда более по душе независимый и даже недоверчивый характер молодого эстонского хирурга Иво Риста.

Вскоре после окончания медицинского института Рист начал работать в Таллинской больнице «Тынисмяэ» под руководством талантливого ученого-травматолога, доцента Арнольда Сеппо. Сеппо поразил сотрудника большим числом изобре-

тий, идей, открытий в области костной хирургии. Конечно, можно было, ни о чем не задумываясь, постигать приемы и идеи учителя. Но Ристу бездумность была чужда. Он усомнился: действительно ли доцент Сеппо дошел до своих открытий сам. Закралось подозрение: а честен ли учитель? И вот ученик начал пропадать вечерами в научной медицинской библиотеке. За три года он перечитал чуть ли не всю мировую литературу по ожогам и переломам костей и, наконец, убедился: все, чему Сеппо обучает сотрудников, он открыл и изобрел сам. После этого Иво Ристу ничего не оставалось делать, как прийти к учителю «с повинной» и стать еще более верным и преданным учеником. Конфликт? Несомненно. Но только ханжа не признает, насколько благодетельно такое столкновение двух характеров.

В науке подчас сталкиваются между собой идеи, но чаще — характеры. И мне кажется, старшие, с их большим жизненным опытом, должны проявлять в таких случаях терпение и широту натуры, чтобы не дать мелким обидам разрастись в пожар подозрительности и неприязни. Инициативу примирения с учениками нередко брал на себя, например, наш великий физиолог Иван Петрович Павлов. Человек горячий, вспыльчивый; он нередко раздражался, если что-то шло не так как надо и, случалось, обижал подчиненных резкими замечаниями. Но на следующий же день спешил отправить ученику записочку: «Брань — делу не помеха. Приходите ставить опыт». Долго помнить зла Павлов не умел.

Дружба, симпатия старших и младших — материя тонкая. Разорвать ее могут самые неожиданные обстоятельства. Не очень давно избранный в Академию наук СССР член-корреспондент из Новосибирского академгородка жаловался мне: когда он был рядовым доцентом, студенты частенько приглашали его на прогулки, на свои вечера и даже в горные походы. В те годы не чувствовал он отчуждения между собой и молодыми. А теперь — высокая должность, заграничные командировки, доклады в высших инстанциях — того и гляди станешь для младших по званию только «шефом», «стариком», исчезнет из лаборатории дух товарищества, искания на равных. Если это случится — прощай успешная коллективная работа, не останется места ни для дружбы, ни для службы... То, что исследователь забеспокоился о нравственной атмосфере в своем научном доме, — добрый знак. Хочется верить: не утратят он уважения подчиненных, не снизится кпд его коллектива. Хорошо бы и в других коллективах и старшим и младшим почаще размышлять о том, какой огромный

резерв творческих сил таится в научном товариществе.

До сих пор, говоря о взаимных отношениях поколений в науке, я имел в виду людей, так сказать, доброй воли. Но случается, в борьбе за место под солнцем кое-кто пускает в ход не только «чистые» средства. Подчас это делают молодые, но, увы, значительно чаще представители старшего поколения. Я знавал в Москве хирурга Р. Незаурядный мастер скальпеля, он слыл до поры до времени хорошим организатором. На кафедре и в клинике его окружали способные ученики. Но была у профессора одна, мягко выражаясь, «слабость»: он хорошо относился к помощнику до тех пор, пока тот не защитит докторскую диссертацию. После защиты слишком самостоятельных и, как ему казалось, «опасных» учеников Р. под любым предлогом из клиники выпроваживал. Нет, нет, никаких скандалов, все тихо, мирно. «Скандал» разразился позднее, когда Р. пришлось по старости уйти на пенсию. Тут вдруг выяснилось, что вокруг него — пустота, нет ни преемников, ни продолжателей. Кафедру и клинику профессор вынужден был отдать в «чужие» руки. Научные идеи его, не получив развития, захирели, сошли на нет.

Стремление профессора Р. во что бы то ни стало извлечь максимум выгоды из клочка освоенной им науки, страх его перед молодой научной сменой обернулись злом по отношению к той самой науке, которую старый врач как будто искренне любил. И так всегда. Любая попытка монополистического «освоения» научного «капитала» приводит к конфликту поколений, раздражает старших, озлобляет младших. В лабораториях монополистов пылают страсти, происходят нескончаемые разборательства, пишутся доносы и объяснительные записки. Где уж тут думать о матушке-науке...

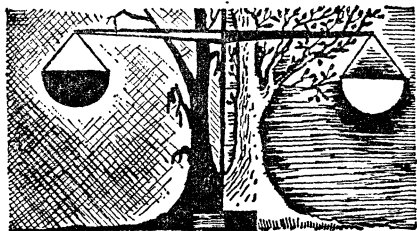
Между тем, у каждого возраста есть своя независимая почва, свое законное, неоспоримое место в творческом процессе. То, что самые ценные исследования ученый делает в молодые годы, пока его мозг свеж и суждения независимы, — аксиома. Но есть своя особая, я бы даже сказал, уникальная функция в науке и у исследователей старшего возраста. Они — хранители заветов.

Мы живем в эпоху всеобщей и повсеместной научной специализации. Стремительное накопление информации превратило научные дисциплины в громады, постигнуть которые один человек уже не может. Отсюда — дробление наук, рождение большого числа узко специальных областей знания. Такая специализация — и зло и благо одновременно. Но как бы то ни было, она — реальность современного мира. Уче-

ные разных стран размышляют ныне, как преодолеть разобщенность между далеко разросшимися ветвями физики, химии, биологии. Предлагают разные технические приемы, средства, методы, чтобы как-то задержать «распадание» наук. Но какие бы счетно-решающие устройства не изобретали бы они для этой цели, нет лучшего «устройства» для сохранения научного единства, чем старые, еще способные к творчеству кадры. Накопление разнообразных фактов в мозгу человека — функция времени. Вот почему даже самые одаренные молодые ученые не могут сравниться со старыми, талантливыми и сохраняющими работоспособность кадрами. В этом нет обиды для молодых. В свой черед и они приобретут те же преимущества.

Не ясно ли из всего сказанного, дорогой друг, что старшим и младшим, если они честны и преданны своему делу, делить в науке решительно нечего? У каждого возраста есть свои преимущества, свои заслуги, своя роль. Дружба, взаимная поддержка — вот наиболее разумные формы отношений для сотрудников любого творческого коллектива. Крепи дружбу! Любая другая система отношений между старшими и младшими превращает коллектив в механизм не творческий и следовательно мертвый. Неужели тебе захочется ходить каждый день в дом, где нет жизни!

## Честь ученого



Не удивляет ли тебя, мой друг, такой заголовок? Ты, конечно, читал в книгах и слышал в театре о чести дамы, о рыцарской чести, о чести офицерской. Но честь ученого — не слишком ли? А между тем честь и совесть ученого — совсем не пустые слова. Речь идет о том, как современный исследователь ведет себя в своей профессии, как относится он к предмету, который изучает, и к последствиям своего поиска. И при этом всегда ли он достоин того уважения, которым окружил его народ? Мы, люди двадцатого века, современники научно-технической революции, особенно озабочены нравственным лицом своих ученых. Ведь в руках научной армии сконцентриро-

вались ныне огромные силы, на науку народ тратит огромные средства. Каждый ли «солдат» научной армии устремляет свой талант и предоставленные ему возможности на пользу людям? Ведь известно: одни и те же методы, одна и та же аппаратура могут в разных руках давать различный эффект...

Вспоминается событие, взволновавшее несколько лет назад отечественные медицинские круги. Видный хирург пожелал сделать в клинике новую сложную операцию, одну из тех, которые в случае удачи именуются операциями века. Специалисты в принципе не отрицали необходимость подобных операций. Многие лаборатории в нашей стране уже работали и работают над тем, чтобы сделать такие хирургические вмешательства надежными и доступными. Но в тот момент, по мнению большинства мастеров скальпеля, операция была преждевременной, шансы на успех у хирурга были, как говорят математики, «убывающе малы». Упрямец, однако, к советам не прислушался. Операция состоялась и, как следовало ожидать, — окончилась неудачно.

Начались споры: имел ли хирург право на «самодеятельность». Кое-кто пытался выдать ученого-упрямца за героя, за этакого медицинского землепроходца. Но в массе своей научная общественность высказалась за то, что врач неправ, с подобными операциями надо погодить. Пока. И, наоборот, самым активным образом готовит такие хирургические вмешательства в научно-исследовательских лабораториях, в опытах на животных. Историю с поспеившим хирургом можно было бы и не вспоминать. Но ведь операция-то не удалась... А тут жизнь человеческая замешана. Чья-то мать или чей-то отец погиб. Когда-то, еще в 50-х годах, в очень схожей ситуации была у меня беседа с моим героем, ныне покойным ленинградским хирургом Петром Андреевичем Куприяновым. Я приехал в его клинику в те дни, когда инженеры и математики только-только передали медикам АИК — аппарат искусственного кровообращения. Врачи давно ожидали этот очень нужный им аппарат, и хотя был он еще не совершен, кое-кто из торопливых медиков поспешил пустить его в ход. И тогда тоже были неудачи...

— А почему вы, Петр Андреевич, отстае, не оперируете с АИК? — спросил я Куприянова.

Я писал тогда книгу об этом талантливом мастере сердечной и легочной хирургии и меня обижала пассивность моего литературного героя. Хотелось видеть его среди первых...

— Рад бы оперировать, да нельзя, собаки у меня в эксперименте дохнут...

И все. Пока гибнут в эксперименте собаки, нравственное чувство запрещает хирургу класть на операционный стол человека. Таков закон совести. Что можно к этому добавить? От далекого средневековья дошло до нас выражение: «Право хирургов действовать безнаказанно». Профессия человека со скальпелем действительно слишком сложна и полна непредвиденных обстоятельств, чтобы могли юридически взыскивать за каждую неудачу. Но есть суровый суд совести, суд, который никогда не позволял и не позволяет уважающему себя медику братья за нож без достаточного к тому основания.

Возможно, дорогой друг, ты заметишь мне, что я привел пример из слишком «острой» области науки. Может быть, там, где ученому не приходится столь непосредственно решать проблемы жизни и смерти, роль нравственного чувства не столь уж велика? Опыт показывает, что это не так. Испытание совести исследователя происходит каждый день и при самых обыденных обстоятельствах. Казалось бы, нет более мирной профессии, чем селекция. Но вот передо мной сугубо специальная книга, принадлежащая перу академика ВАСХНИЛ А. Л. Мазлумова. Крупнейший в стране специалист по сахарной свекле пишет:

«...Селекция — это прежде всего порядок, стройность. Если этого нет, то трудно пользоваться своими селекционными богатствами и особенно трудно их отыскивать. Хорошие сорта не получаются сами собой. Нужна аккуратная, дружная работа всего коллектива — от селекционера до рабочего. Селекционер должен прежде всего верить тому, что делается вокруг; один он не может объять необъятное. Верить же можно только правде, а правда является постоянным результатом дружной и точной работы. Если есть научная добросовестность, которая ставит превыше всего истину, то работается легко.

«Верить», «добросовестность», «истина»... Обрати внимание: это ведь не агрономические, а нравственные категории. Без них, объясняет нам ученый, не получить ни новых сортов, ни дополнительных центнеров сахара.

Вот, оказывается, где — на свекольном поле задумался ученый об основах нравственности и, как видим, не зря. Ибо статья против неправды, против отсутствия этических принципов у коллеги никогда и нигде не поздно и неуместно. Мы обнажаем свою этическую сущность и общаемся с товарищами по лаборатории, и читая присланную на отзыв из другого института научную статью, и голосуя на ученом совете «за» или «против» присуждения ученой степени своему соседу по лаборатории. В этих науч-

ных буднях, дорогой друг, и тебе предстоит показать окружающим свое подлинное лицо. И когда придет это время, не забывай, пожалуйста, о том, что твой голос, твое поведение всегда отзываются на общем деле. Не забывай также, что научная недобросовестность, эгоизм, не объективность могут свести на нет труд целого коллектива.

Я предвижу еще одно возражение, которое не раз уже слышал, главным образом, от молодых научных сотрудников. В современной большой лаборатории,— говорят они,— нравственные понятия, принятые в XIX и начале XX века, неприемлемы. Коллективный поиск, разделение труда в лаборатории неизбежно уменьшают творческую роль каждого отдельного сотрудника. Тем самым снижается и его личная ответственность, та самая ответственность, которая лежит в основе нравственного поведения ученого. Поэтому-де прежний «кодекс научной чести» надо менять, как устаревший.

О том, что формы современного научного поиска изменились и стали в основном коллективными, спорить не приходится. Справедливо и то, что на «научном конвейере» вклад отдельного сотрудника действительно уменьшился по сравнению с тем временем, когда исследователь работал в одиночку. Но я решительно возражаю против того, что новые формы исследования якобы разрушают прежние представления о научной чести, порядочности, ответственности. Совсем наоборот. Коллективный научный труд создал порядок, при котором самая малая частица исследования неразрывно связана с окончательным итогом общего поиска. От того, как Иванов разработал свой узел уникального аппарата, зависит успех всего конструкторского бюро, как бы мал ни был сам узел. Личные моральные качества Иванова при этом касаются всех, кто с ним связан общим делом.

В свое время было написано немало книг про то, как выявляли себя в нравственном отношении участники полярных экспедиций. Трусость, мужество, неуживчивость или, наоборот, товарищеская сердечность— эти личные качества нередко решали судьбу экспедиции в целом. Но, когда ты присмотришься, мой друг, к тому, что происходит сегодня (нет, не на подступах к полюсу!), а в рядовой лаборатории рядового института, то увидишь все те же этические ситуации, что описаны у Хансена и Амундсена.

Итак, подведем итоги. Честь ученого состоит, очевидно, в том, чтобы отстаивать истинную науку, науку для всех от посягательства людей, стремящихся институт, лабораторию превратить в личную кор-

мушку, в объект самодовольства или самодовольного развлечения. Все это так. Но, отстаивая науку, мы должны ясно представлять себе...

## Всегда ли наука только добро?



Как и ты, мой друг, я всегда питал глубочайшее почтение к науке. Как и тебе, мне с юных лет втолковывали, что она все разрешит, она развяжет все человеческие проблемы. С ее помощью люди достигнут других планет, освоят глубины океана, постигнут все тайны мира и в том числе тайну жизни. Всех противников науки мои учителя зачисляли в лагерь мракобесов или темных людей. Так я и усвоил эту четкую схему: на одной стороне сборники науки, освещенные ее безграничным сиянием, а на другой— тьма, там злые или безграмотные люди, с которыми следует бороться. Себя я, естественно, относил к тем, кто все понимает и кому добрая наука сделает впереди еще немало прекрасных подарков.

Но однажды во время войны я, молодой военный медик, обнаружил в городе, куда вошли части Советской Армии, микробиологическую лабораторию. Ее развернули врачигитлеровцы. Одно из назначений этого научного учреждения состояло в том, чтобы испытывать культуры болезнетворных микробов на людях. Их испытывали на советских военнопленных. Да так испытывали, что «подопытные» чаще всего погибали. Лаборатория была оборудована самой совершенной аппаратурой, мебелью, посудой, в ней явно поддерживался тот строгий порядок, который и должен поддерживаться в таком учреждении. А аппаратура и посуда эта использовалась в самых жестоких, бесчеловечных целях. Так впервые столкнулся я со злой наукой. Мои любимые книги предвоенных лет, книги Поля де Крюи рисовали охотников за микробами, как добрых, самоотверженных людей. Они такими и были: Пастер, Мечников, Ру, Беринг, Безредка. Сколько они вакцин и сывороток создали,

сколько людей спасли. И вдруг вот оно что оказалось: та же самая бактериология в других руках стала наукой про то, как убивать. «Значит, наука не всегда добро?»— подумал я. Хотя, скорее всего, тогда я так еще подумать не мог. Понимание пришло позднее. А тогда я подумал, очевидно, другое: «Проклятые фашисты, к чему не притронутся, все изгадят, даже науку».

Потом был август 1945-го, атомная бомбардировка японских городов, сто тысяч убитых и обожженных. Вскоре мы, современники этих ужасов, узнали, что для своего создания бомба потребовала работы целого города ученых. В том городе трудились физики, химики, математики с мировым именем, и трудились они напряженно, несколько лет. Значит, и физика, которую многие мои товарищи любили еще со школьной скамьи, наука олимпийца Ньютона, доброго труженика Фарадея, блестящего Ампера и нашего русского таланта Петра Лебедева, «взвешившего свет»,— физика тоже оказалась наукой про то, как убивать! Горькое это было открытие. И даже то, что некоторые физики после Хиросимы отреклись от своих исследований и стали борцами за мир, не слишком утешало. Позднее я прочитал у одного американского ученого-биохимика слова, которые точно передали мое новое отношение к исследовательскому труду: «Наука имела прямое отношение к той части истории человечества, которая стала ее позором. Хиросима— это гораздо больше, чем название разрушенного города».

Я не был первым, кто задумался над странным противоречием, в котором оказалась наука. Над этим люди думали давно. Существует легенда про то, как средневековый монах Бертольд Шварц изобрел порох. Говорят, что сам изобретатель назначение пороховой смеси видел в том, чтобы начинать ею шутики и устраивать веселые фейерверки. Как известно из истории, фейерверками дело не ограничилось. Порох пошел в пушки, аркебузы, пищали. Войны стали более кровопролитными, более жестокими. Так бывало не раз: попадая в недобрые руки, сами великолепные изобретения становились злом. «Фейерверки» Хиросимы и Нагасаки только продолжение давней традиции. Неизбежность? Наш современник поэт Д. Самойлов вложил этот роковой вопрос в уста своего героя— изобретателя пороха:

Неужто все, чего в тиши ночей  
Пытливо достигает наше знание,  
Есть разрушение, а не созиданье,  
И все нас превращает в палачей?

По счастью судьба открытий и открывателей не так уж безнадежна, как может показаться. Прежде всего потому, что любое изобретение и открытие (если даже открыт

ужасный яд или смертоносные лучи) само по себе, в нравственном отношении,—нейтрально. Яд, которым некоторые народы Африки смазывали стрелы — кураре, служит ныне в хирургии, а губительные (если не уметь с ними обращаться) лучи Рентгена по-доброму необходимы не только медикам, но и металлургам. Говорят, что на западе в некоторых оружейных магазинах можно увидеть плакат: «Оружие не убивает, убивают люди». Не станем оправдывать свободную продажу винтовок и пистолетов, но одно несомненно: сама по себе винтовка к пальбе, действительно, не способна. В этом смысле и судьба достижений науки целиком зависит от тех, кто их создает, от тех, кто ими владеет.

Но оставим в стороне военный аспект современной науки. Обратимся к такой мирной области, как исследование живой клетки. Уж биология-то, наверное, является образцом науки «для людей»? Одна из наиболее перспективных областей биологии, о которой сейчас много пишут, зовется геной инженерией. Гены — носители наследственных признаков. Пересаживая гены из клетки одного организма в клетки других организмов, исследователи приобрели ныне возможность вторгаться в самое тайное тайных — управлять наследственностью. От этой новой сферы науки естественно было бы ожидать ценнейшей помощи, например, больным с врожденными генетическими пороками. Такими болезнями страдают в мире миллионы людей. Однако в связи с развитием геной инженерии часто можно услышать от ученых такое суждение: «Наука превращает нас в богов раньше, чем мы заслужили звание человека». В чем дело? Откуда такая горечь в суждениях западных остроумцев? Некоторый ответ на это дает опубликованное не так давно в международном журнале письмо доктора Л. Р. Касса.

«Последние успехи биологии и медицины подтверждают, что скоро мы обречем силы изменять и контролировать способности и деятельность людей непосредственного вмешательства и управления их телом и разумом», — пишет ученый и задается в связи с этим вполне резонным вопросом: «Каким же целям станет служить новая технология? Какие ценности будут основанием для устройства общества?.. Что такое хороший человек, что такое хорошая жизнь человека, что такое хорошее общество?» Оказалось, что у тех, кто развивает геной инженерию, на все эти и другие столь же основополагающие вопросы ответа нет.

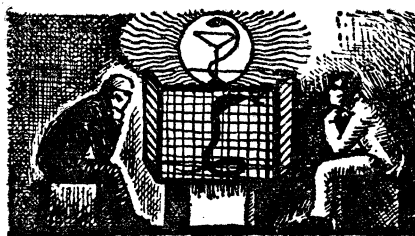
Большинство людей в мире и сегодня считают благом всякую науку и приемлют плоды научной деятельности. Многие убеждены, что все проблемы разрешит «контроль науки над природой». Но ведь такой контр-

роль производит не некая абстрактная наука. Наука только дает средства, цели же выбирает человек. И выбор целей очень часто происходит без всякого участия науки. Цели могут быть продиктованы и корыстными чувствами и такими, вроде бы естественными чувствами, как страсть к опытам, к исследованиям. Ученый может поставить опыт, желая «поглядеть, что из этого получится». Когда речь идет о жизни и смерти, такой безнравственный или внеэтический подход может принести больше горя, чем даже полное отсутствие всякой науки.

Доктора Л. Р. Касса особенно беспокоят этические проблемы, которые встанут перед ученым, который собирается использовать практические предложения современной медицины и биологии. Допустим, завтра откроется возможность пересаживать людям органы. Само собой разумеется, что обеспечить пересадкой сразу всех желающих не удастся. «Как по справедливости можно распределить скудные и дорогие плоды биохимической технологии? — вопрошает доктор Касс. — Кому пересадить в первую очередь искусственную почку, искусственное легкое? Мало вероятно, чтобы на этот волнующий вопрос мы смогли получить четкий, нерасплывчатый ответ от самой геной инженерии».

О чем толкует американский биохимик? Да о том самом, что беспокоит ученых и по другую сторону океана: наука внеэтична и поэтому особенно важно, чтобы нравственными принципами руководился в своей жизни и работе сам ученый. Что к этому можно добавить? Только одно: ты вступаешь в науку, мой друг, в такую эпоху, когда от тебя самого зависит, будет ли та область исследований, которой ты займешься, радовать современников, приносить им благосостояние и счастье или станет предметом ужаса и страданий. Наука — оружие двуострое. Но у человека науки права быть двуличным и двуличным нет.

## И ОДИН В ПОЛЕ — ВОИН



Ты, конечно, заметил, дорогой друг, что мое письмо к тебе почти не касается современного состояния наук, но зато меня живо интере-

суют те чувства и поступки, которыми неизбежно будет сопровождаться твоя жизнь в науке. Как и ты, я люблю читать биографии великих исследователей прошлого. Как и ты, я много раз читал про то, что настоящему ученому для творческого успеха более всего необходимы три качества: талант, знания и энергия. Но мои встречи в институтах, клиниках и на опытных полях натолкнули меня на мысль о том, что этой триаде не хватает еще одного, четвертого элемента. Назовем его как угодно: научная нравственность, этика, а может быть, и просто совесть ученого. Без него, как без четвертого элемента, никакое крупное открытие невозможно. Маленькие подделки — куда ни шло. Но оригинальные большие идеи не выходят в мир без честности, самоотверженности, самокритичности своего творца.

Не так-то просто соблюдать все параграфы кодекса научной чести. Со всех сторон молодого (и не только молодого) ученого поджидают соблазны. Ужасно хочется, например, выбрать тему для диссертации такую, чтобы и работать над ней было легче и проходила она через ученые советы и ВАК без зацепки, без задоринки. Опасный соблазн! И кончается он подчас крахом такой «облегченной» конструкции. Или вот еще проблема: авторство. Кажется все ясно: кто избрал, кто открыл, тот и автор. Но молодежи хочется подчас приобрести дополнительную «подпорку» для своей работы. И ради такой мало достойной цели иной молодой автор приглашает в качестве соавтора высокопоставленного деятеля, хотя тот и ничего не сделал «в общей» работе. А у некоторых немолодых, но чиновных исследователей возникает встречный соблазн: приписать себя к чужой работе, пожинать там, где не сеял. Нередка и такая ситуация: захочется некоему исследователю объявить себя единственным автором открытия, над которым корпели рядом с ним несколько его товарищей, и объявляет. Уж сколько таких хапуг разоблачено в газетах и судах, а соблазн не слабеет. Так что всякому обитателю лаборатории, сколь бы интересную и важную работу он ни делал, необходимо ежедневно краешком глаза поглядывать на себя: дескать, наука наукой, а сам-то я хорош ли? Соответствую ли высокому положению своему?

С самим собой справиться, куда ни шло, еще можно. Но вот в силах ли человеческих остановить на крутом повороте самую науку? Что предпринять, если ты видишь, что дело твоих рук вот-вот обернется злом, когда понимаешь, что становишься причастен к опытам, которые запятнают твое лицо в глазах современников и потомков? Такие проблемы нередко возникают перед

учеными Запада. Разрешим ли такой конфликт между личностью и наукой? Крупнейший физик XX века Макс Борн в своей книге «Моя жизнь и взгляды» (Москва. Издательство «Прогресс». 1973 г.) высказался в том смысле, что в современных условиях отдельный ученый бессилён остановить «злые» тенденции науки. С этим мрачным выводом согласны, однако, далеко не все современники.

Снимая с ученых ответственность за дело их рук, окончательно освобождая их от этического подхода, при решении судеб мира, мир (действительно) пустил бы на самотек события, от которых зависит существование жизни на планете Земля. Совесть исследователя, его ответственность перед обществом — могут и должны быть противопоставлены бездумному накоплению знаний, идущих во зло человеку. Это всегда понимали и понимают сегодня наиболее разумномыслящие естествоиспытатели. Вскоре после окончания второй мировой войны Всемирная федерация научных работников опубликовала Хартию, в которой, между прочим, говорилось:

«В связи с последствиями, к которым может привести использование науки, на благо человечества или во вред ему, на ученого возлагается большая ответственность, чем на рядового члена общества, главным образом, потому, что научный работник, обладая знаниями, может предвидеть эти последствия. Среди подписавших Хартию был первый Председатель Федерации ученых-коммунист Фредерик Жолио-Кюри.

Со времен принятия Хартии прошло треть века. Срок немалый. Как же сегодня, в начале семидесятых относится к проблеме «опасной науки» Человек Предвидящий?

Статья доктора геолого-минералогических наук Г. Л. Поспелова в книге «Наука и нравственность» ухватывает, как мне кажется, суть вопроса наиболее точно.

«Если говорить о свободе исследования во имя науки как таковой, вне зависимости от тех социальных условий, в которых она развивается, то любая реальная цель, имеющая научный интерес, достойна приложения сил... Исследование даже таких вопросов, как атомный или ядерный взрыв, управление болезнетворной способностью вирусов и бактерий — дело, которое не несет в себе моральной компоненты. Но эта компонента появляется тотчас, как только вопрос переносится в сферу антагонистических общественных отношений... Здесь и появляются вопросы — надо или не надо заниматься данной проблемой сейчас, исходя из социальных и моральных ее аспектов, связанных с опасностью ее для людей в конкретных исторических условиях...»

Борьба за охрану чистоты научных источников вывела на мировую арену за последние годы таких героев, как Фредерик Жолио Кюри, Лайнус Полинг, участников Пагоушского диалога. В сентябре 1969 года свободный этический выбор сделал профессор биологии Гарвардского университета, лауреат Нобелевской премии Джордж Уолл. Он отверг предложение военного министерства заключить контракт с Эджвудским военно-химическим арсеналом на разработку вещества, вызывающего у людей временную слепоту. В том же 1969 году научные сотрудники Принстонского университета выразили протест против выполнения заказов НАСА, а федерация американских научных работников приняла резолюцию о том, что секретные военно-исследовательские работы допустимы лишь в чрезвычайных для США обстоятельствах.

Над горизонтом науки взошли тем временем новые тучи (то, что в 20-х—30-х годах пугало Чарльза Шеррингтона как весьма далекая перспектива, превратилось полвека спустя в четкую программу).

Комитет экспертов научно-исследовательского центра американской «Рэнд корпорэйшн» опубликовал прогноз и сроки наиболее крупных открытий, касающихся человеческого мозга. Согласно прогнозу использование ненаркотических веществ для изменения поведения и характера начнется сразу после 1980 года; усиление мыслительных способностей с помощью химических стимуляторов предполагается начать между 1980 и 1990 годами, а физико-химическое вмешательство в механизмы памяти следует ожидать к двухтысячному году.

Прогноз был опубликован в начале 1970 года, а 21 июля двадцатипятилетний английский биолог доктор Питер Харпер выступил на международном симпозиуме и заявил следующее: «Я решил прекратить свои научные исследования, ибо они таят в себе слишком много опасностей. Я прекращаю свои опыты, так как стою на пороге неизвестного — вторжение в него может обернуться торжеством сил зла».

Питера Харпера испугали вовсе не предсказания «Рэнд корпорэйшн». Он сам в своем Суусекском университете занимался исследованием механизмов памяти. Правда, свои первые пятьдесят опытов он проделал на крысах, но они, эти опыты, имели самое непосредственное отношение к будущим судьбам человечества. В интервью сотруднику газеты «Эуропес» он сказал:

«...Мы можем научиться выделять химические соединения, соответствующие всем эмотивным состояниям мозга и порождающие гнев, страх, любовь, гордость, ревность и т. д. Впрыскивая полученные веще-

ства живым существам, мы можем по своему усмотрению делать их злыми, трусливыми, спесивыми, влюбленными и т. д. Иными словами, мы сможем создавать целые племена чудовищ, в психике которых будут доминировать те или иные черты, привитые им насильно. Вот здесь-то и дает себя знать опасный аспект нашей работы».

Есть и много других аспектов открытий в этой области, которые привели доктора Харпера к свободно сделанному им этическому выбору: решению оставить опыты, которые представлялись ему преждевременными. Молодой ученый отказался не только от блистательно начатых экспериментов, но и от научной карьеры вообще.

Так понимает свой долг наш современник доктор Питер Харпер. В свои двадцать пять уловил он главное предупреждение, которое эпоха делает ученому. Звучит это предупреждение примерно так.

Хотя ты участвуешь в преступлениях подчас вместе с другими, отвечать тебе придется самому. Списать свою вину за счет пороков общественной системы никому не удастся. Об этом еще в год рождения Питера Харпера было безоговорочно заявлено на процессе военных преступников в Нюрнберге. Там судили не только фашизм, на скамье подсудимых сидели его реальные творцы и носители. Нашлось на той скамье и место для некоторых докторов наук. В этом нет ничего странного. Пути науки определяются законами общественного развития, но свою личную судьбу ученый решает сам.

Как видишь, дорогой друг, быть настоящим ученым совсем не просто. Для этого недостаточно быть только талантливым и знающим человеком. Надо воспитать в себе понятие чести, личной ответственности, личного долга. Впрочем, столь же непросто быть настоящим рабочим, инженером или летчиком. Большого труда требует всякая честная и достойная жизнь. Непрост путь всякого, кто хочет исполнить свой долг перед народом и перед самим собой так, чтобы ему не стыдно было глядеть людям в глаза. Да и тебе, скорее всего, придется в жизни нелегко. Говорят, каждое новое поколение видит дальше, чем предыдущие. Иначе быть не может. Ведь ты и твои сверстники, будущие ученые, смотрят в двадцать первый век, опираясь на плечи исследователей века двадцатого. Дерзай, дорогой друг, у тебя прочная опора!

# СИГНАЛ-СБОР!

*ВСЕМ, ВСЕМ, ВСЕМ ЮНЫМ СЛЕДОПЫТАМ!*

## ДАЕМ ПОЗЫВНОЙ ОБЩИЙ!

Помните, такой сигнал был у команды Тимура! Он звучит сегодня не случайно. Если бы Тимур Гараев жил в наши дни, он непременно встал бы в ваши ряды, потому что дело у ребят-следопытов — очень интересное и увлекательное. Да ведь Тимур и сам был следопытом. Кто в дачном поселке узнавал о всех ушедших на фронт и ставил красные звезды на домах! Кто выслеживал «по почерку» Мишку Квакина! Дознавался, отчего плачет маленькая дочка погибшего на границе лейтенанта Павлова! Он сказал бы сегодня: «Вот это дело по мне!», и пошел бы с вами, юные геологи, историки, следопыты по войне, географы, краеведы.

Старый сигнал Тимура по форме один — позывной общий — звучит для всех следопытов, для всех школьных музеев. В стране действуют сотни тысяч следопытских отрядов, ведущих огромную работу. Вы собираете материалы по истории края, разыскиваете земляков, устанавливаете имена погибших на войне, ведете литературный поиск, изучаете родную природу, вы разгадываете сотни тайн — расскажите об этом! Сообщите о себе.

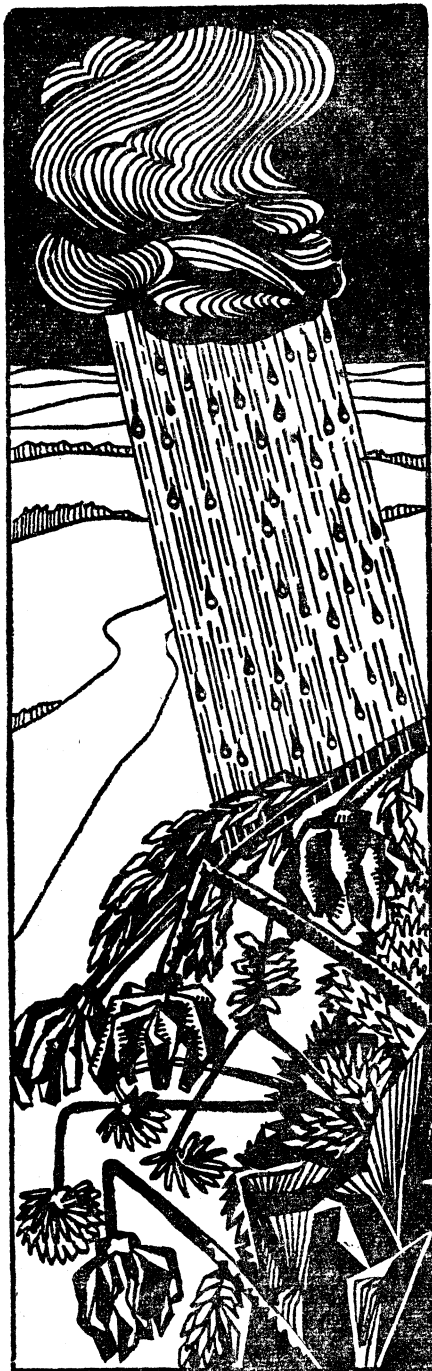
### *Вопросы к вам:*

1. Какую поисковую работу ведут следопыты вашей школы?
2. Есть ли музей — и с какими разделами?
3. Кому из своих ребят вы присвоили бы звание «профессора следопытства» и за что?
4. Главный, самый интересный экспонат школьного музея? Как он был найден и почему считаете его ценным? Если есть фото — пришлите.
5. В августе ребята возвращаются из походов и экспедиций. Где нынче пролегли ваши следопытские маршруты?
6. Какие ваши находки и дела (юных геологов, лесоводов и т. д.) имеют народнохозяйственное значение?
7. Что из школьных экспонатов взято в государственные краеведческие музеи?

### ЖДЕМ ВАШИХ ДОНЕСЕНИЙ

*На конверте ставьте пометку:*

*«СИГНАЛ-СБОР»*



# СТИХИ

## Людмилы Тумановой

Рисунки  
А. Лебедева

Это первая журнальная публикация стихов Людмилы Тумановой.

Жила в Кургане девочка. Училась в школе. Любила театр — самозабвенно, страстно. Ее дебют на самодеятельной сцене, где она исполняла роль Золушки, имел шумный успех. Успеху способствовал забавный эпизод. На бал Золушке полагалось прибыть в белом платье. Подходящего платья, как ни бились, не нашли. Зато у маминной подружки отыскалась красивая черная юбка-солнце и кружевная расшитая блестками черная блузка-жилет. Так и явилась Золушка публике вся в черном. Принц, в соответствии с текстом, спрашивает придворных: кто эта девушка в белом платье? В зале — хохот.

Люда успешно выдержала конкурс в местную студию при Курганском драмтеатре, думала о театральном вузе.

И вдруг нелепый случай, последствия которого оказались трагическими. У Люды отнялись ноги, болезнь приковала ее к постели. Широкий светлый мир сузился до размера комнаты. Судьба испытывала ее на жизненную стойкость: что ты можешь, человек?

Люда стала писать стихи, точнее, песни. Зимней ночью, когда все спят, а ей не спится, когда

кружит за окнами метель, вдруг сама собой всплыла мелодия, а с нею строчки:

Посмотри, снег летит,  
Дай же руку скорей!  
Пусть зима посидит  
На ладони твоей.

Люда пишет трудно, шлифуя каждое слово, словно проверяя его на вкус, запах и цвет, примеряя, насколько прочно оно встало в ряд с другими. Она и автор, и композитор, и исполнитель. У каждой песни своя предыстория. Понравился Людмиле телевизионный фильм «Стюардесса» с Аллой Демидовой в главной роли, и появилась песня с аналогичным названием. Ее мама, Надежда Павловна, верный друг и первый слушатель, по профессии синоптик, летала когда-то на самолете наблюдателем. Маме посвящены «Небесные короли». Ну, а как родилась песня «Мой театр», думается, и пояснять не надо. Фирма «Мелодия» издала пластинку, и песни Люды пошли гулять по белу свету. В них шум морского прибоя, тихий шелест снежинок, в них грусть и свежляя радость мира, заново для себя открытого.

Станислав  
МЕШАВКИН



### Утро в Домбае

Здравствуй, утро! Я тебя встречаю  
пенем птиц и травами в росе.  
К полудню тебя рука Домбая  
с гор опустит к средней полосе.

А в горах, друзья, все необычно!  
Горизонт упрятан в синеву...  
Наш инструктор,  
ко всему привычный,  
объясняет тихо, что к чему.

Обживаем лагерь понемногу,  
цель маршрута нам уже ясна.

Где-то есть канатная дорога,  
альпинисту не нужна она.

Мы нежны, у нас штормовки грубы,  
судим, но и дружим горячо.  
Главное, конечно, — ледорубы,  
рядом чтоб — надежное плечо.

Слушай, утро! Сколько прошагаю,  
восходя в цепочке в тишину?  
А когда меня рука Домбая  
с гор опустит, я в траве усну.





## Иду к тебе

Не помню, солнце ли светило,  
А может, дождь осенний шел?  
Немудрено, я так спешила,  
И так мне было хорошо!

В руке — три красные гвоздики,  
И ветер — в рыжих волосах.  
Я прохожу в толпе безликой,  
Чуть различая голоса.

Повсюду листьев хороводы,  
В них затерялся лета след.  
Иду в пальто, отстав от моды  
На десять с половиной лет.

Что мода! Разве счастье в этом?  
Сама творец в своей судьбе...  
И вот твой дом. Он залит светом.  
Иду к тебе, спешу к тебе.

Вхожу во двор, подъезд твой вижу,  
А сердце... Что же ты? Уймись!  
И дверь твоя все ближе, ближе,  
Лишь только руку протяни.

Но нет, звонить к тебе не стала,  
И проку нет в моей ходьбе...  
В который раз я представляла,  
Что шла к тебе... Иду к тебе!..



Бродит Август по траве,  
Уходить не хочет.  
А Сентябрь уже листве  
Голову морочит.

Вьется в медленном ветру  
Паутинок танец...  
Листья тянутся к костру,  
На щеках — румянец.

Ой, не верьте Сентябрю,  
Берегите душу!  
Опалит ведь, говорю,  
Всем сердца иссушит.

Но не слушает листва  
Моего совета.  
Под стволами — острова  
Песен недопетых.

Любо осени скакать,  
Сунув ногу в стремя!  
Зеленеть и отцветать —  
Всему свое время.

## Последний дождь

Идет последний светлый дождь,  
там — до весны: прости-прощай!  
Он тихо, будто невзначай,  
качнул рябиновую гроздь.

Пробарабанил свой мотив  
промокшим пальцем на пеньке,  
ответил дятел вдалеке,  
дождя морзянку повторив.

А дождь уже вовсю плясал,  
о корни разбивая пятки,  
и сам с собой играя в прятки,  
то выбегал, то исчезал.

Дождь уносил с ветвей листья,  
уснувшие осенней ранью,  
и на заброшенной поляне  
поил увядшие цветы.



## Голубой звездопад

Уж завяли цветы  
И смешались с травой.  
Все деревья, кусты  
Отшумели листвою.  
Посмотри, снег летит!  
Дай же руку скорей!  
Пусть зима посидит  
На ладони твоей.  
Где-то есть — вы слышали? —  
Голубой звездопад.  
А снежинки, как жаль,  
Уж рососою блестят.

Иней звездным ковром  
Облепил все дома.  
Лужи стали стеклом,  
Провода, как тесьма.  
Посмотри, снег летит!  
Дай же руку скорей!  
Пусть зима посидит  
На ладони твоей.  
Пессимисты твердят:  
— Что впустую мечтать?..  
Голубой звездопад  
Все равно буду ждать.

Так бывает, что враз  
Поседела поля.  
Раз в году, только раз  
В белой пене земля.  
Посмотри, снег идет!  
Дай же руку скорей!  
Пусть зима отдохнет  
На ладони твоей.  
Звездам хочется сесть,  
Вот они и летят...  
Может, это и есть  
Голубой звездопад?



# Небо открыли поэты

*Польская страничка из жизни русского поэта  
и пилота Василия Каменского*

**Александр  
НИКИТИН**

Казалось бы, что Мокотовский аэропорт в Варшаве не отнесешь к числу мест, связанных с историей русской поэзии. И все же, ступая на его бетонные плиты, до блеска отшлифованные самолетами, я каждый раз вспоминаю поэта, в записках которого сохранились такие строки:

«Ранним весенним утром 1912 года на варшавском Мокотовском аэродроме было пустынно и тихо. Только в группе летчиков разносилось веселое «браво» и звенел молодой рассыпающийся смех. Это я, один из пяти авиаторов, тренировавшихся в то время в Варшаве, в комбинезоне, в кожаной каске, натягивая замшевые перчатки перед полетом, читал авиаторам свои новые стихи:

Сарынь на кичку!  
Ядреный лапоть  
Пошел шататься по берегам...»

Не трудно узнать поэта уже по этим гортанным стихам, напоминающим разбойный клич атаманов казацкой вольницы. Да, это был он, Василий Каменский, друг Владимира Маяковского и Велимира Хлебникова.

Автор звонких поэм о крестьянских вожжах Стеньке Разине, Емельяне Пугачеве и Иване Болотникове был одним из первых русских авиаторов, не авиатором-любителем, а профессионалом высокого класса.

В своих воспоминаниях Василий Каменский писал:

«Меня нестерпимо потянуло к крыльям аэроплана, да так потянуло, что я лишился покоя и места на земле. Захотелось приобщиться к величайшему открытию не на словах, а на деле. Что стихи, романы? Аэроплан — вот истинное достижение современности! Авиатор — вот человек, достойный высоты!...»

Каменскому повезло. Его первым учителем оказался знаменитый русский пилот Лебедев. Каменский дружил с такими пилотами-асами как Васильев, Ефимов, Россинский, Уточкин. Начав свои полеты в Гатчине под Петербургом, поэт в 1911 году после первой же аварии, которые случались тогда нередко, привез свой самолет французской марки «Блерио» в Пермь и удивил уральцев полетами «железной птицы».

Варшава приглянулась 27-летнему Василию Каменскому далеко не случайно. К тому времени на Мокотовском поле, при аэродроме, был выстроен большой авиационный завод Любомирского, и там собралась группа известных польских авиаторов. Один из них, Славососов, стал инструктором Каменского, благодаря чему поэт вскоре сдал экзамен и получил международный диплом пилота-авиатора.

В один из последних приездов в Варшаву меня встретил польский журналист Януш Мусялковский. Тщетно пытались мы вместе с ним найти следы тех старинных ангаров на Мокотовском поле, в которых хранил свой аэроплан Василий Каменский. Время и войны многое изменили здесь. Тогда мы попытались найти старую цукерню, в которой по вечерам любил пить кофе Каменский.

Об этом он тоже оставил несколько строк:

«Я сидел за кофе в варшавской цукерне на Иерусалимской и, перелистывая журналы, спокойно улыбался: там, в пестроте иллюстраций, видел себя и подписал: «Пилот-авиатор Василий Каменский перед полетом».

Мы зашли с Янушем в одну из старинных цукерен в центре города на Иерусалимской улице, более известной теперь под названием Иерусалимские аллеи, и заказали по чашечке кофе. Как и в давние времена, здесь можно было не только выпить кофе, но и перелистать журналы, пробежать взглядом заголовки свежих газет.

Не знаю, было ли это то самое любимое Каменским кафе, название которого он не указал, но вечер за столиком старой цукерни располагал к беседе о русском поэте, о его полетах над Варшавой.

— А знаете? — сказал вдруг Януш. — О полетах Каменского, кажется, рассказывал мне еще отец!

— Он видел эти полеты в Варшаве?

— Нет, в Петрокове, южнее Варшавы. Покойный отец мой, в те годы молодой крестьянин, жил в окрестностях города Петрокова... Помнится была в нашем доме афиша, которую он принес тогда из города.



— Вот бы ее разыскать!  
— Постараюсь!..

Вечером, в гостинице, я еще раз перечитал захваченные с собой выписки из воспоминаний Каменского: «После весенних полетов (немало перекатали воздушных пассажиров) мы оставили Варшаву. Славорохов уехал состязаться за границу. А я взял свой «Блерио» и поехал совершать полеты в польских городах, где еще не видали аэропланов. Сначала все шло хорошо: летал в Калише, Сосновицах, собирая уйму публики.

В Петрокове ломились беговые трибуны от напора народа, и там во время моего полета ахнул проливной дождь. Аппарат стало давить обильной водой — я едва справился с ним, с трудом сел на беговую дорожку...»

Значит, Василий Каменский действительно летал в Петрокове. Но когда именно?

Утром следующего дня я спросил Янушу Мусялковского о его обещании. Он сказал, что афиша нашлась, но не знает, как ее доставить мне.

— Неужели афиша столь огромных размеров?  
— Дело вовсе не в размерах, — рассмеялся Януш, — а в том, что афиша слишком прочно наклеена... на крышку сундука, перешедшего ко мне от отца, так сказать, по наследству.

В русских домах тоже нередко можно встретить старинные крепко сработанные сундуки, оклеенные внутри листами из иллюстрированных журналов, а то и афишами. Вот точно такой же сундучок и показал мне Януш Мусялковский.

На внутренней стороне крышки, рядом с рисунками из польских журналов начала века, была наклеена и небольшая афиша на русском языке. Плотная бумага от времени стала желтой и хрупкой, но печатный текст хорошо сохранился:

1. Основы авиации. Прочтет на польском яз. инженер М. Круль.

2. Современная авиация. Прочтет на русском яз. пилот-авиатор В. Каменский.

Итак, Василий Каменский летал в Петрокове 18 марта 1912 года. Правда, погода помешала ему блеснуть своим мастерством, поэтому полет нельзя назвать удачным. Хорошо еще, что остались целыми и авиатор и его аэроплан.

Куда трагичнее окончились показательные полеты Каменского в следующем польском городе — Ченстохове. Об этом он подробно рассказал в своих воспоминаниях<sup>1</sup>.

«К началу полета, к 5 часам вечера, повалила густая лава народу. Место «аэродрома» было обтянуто

канатами, которые охраняли войска. Как обычно, прибыл губернатор со свитой. Полицмейстер верхом на вороном коне наводил порядок... Крыши окраинных домов были усеяны публикой. Кругом — стена народа. Словом, картина широкого массового торжества.

Я — посредине аэродрома с «Блерио». Тут же механик и четверо рабочих, чтобы держать аппарат во время предварительной работы мотора.

И вдруг... ветер, сильный ветер. Небо в тучах. Рабочий с механиком схватились за крылья. Я, скрежеща зубами от злости, решил переждать, но подвехал полицмейстер, заявил:

— В городе несчастья: люди падают с крыш или проваливаются. Губернатор приказал лететь вам сейчас или отменить полет...

На беду блеснула молния, грянул гром. Ветер усилился.

Я решил лететь, вскочил на аэроплан... «Блерио» легко взмыл под ветер, но выше стало так болтать, трепать, швырять мой жидкий аэроплан, что спасенья не предвиделось.

Я стиснул зубы, сжался в комок, удесятерил волю, всячески регулировал, выравнивал. Но все напрасно: на вираже под крыло ударил порыв ветра — я перевернулся с аппаратом на большой высоте.

В тот же вечер в Россию полетели тревожные телеграммы: «Погиб знаменитый летчик и талантливый поэт Василий Каменский». На следующий день некоторые газеты вышли с некрологами и статьями. Впоследствии Каменский шутил: «В статьях меня возносили до гениальности, явно рассчитывая, что я не воскресну». В конце ослепительных некрологов курсивом печаталось, что во время падения Каменского в Ченстохове «случилось двадцать три дамских обморока».

Бесстрашного авиатора спасло Килетское болото, куда он угодил вместе со своим аэропланом. Спустя одиннадцать часов после катастрофы к Василию Каменскому вернулось в больнице сознание, он быстро поправился, отремонтировал свой неразлучный «Блерио» и укатил в Пермь.

«Я любил свой уральский край, — вспоминал он, — и давно мечтал обосноваться где-нибудь в лесной деревне, где мог бы жить каждое лето, где мог бы рыбачить, охотиться, работать по литературе и сельскому хозяйству: ведь у меня были знания агронома».

Недалеко от Перми, на хуторе Каменка, который сам поэт и основал, Василий Каменский и занялся литературой и сельским хозяйством... Но не забывал и аэроплан. Опять летал над Пермью и Камой, как до этого над Варшавой и Вислой. Правда, пассажиров, желавших прокатиться на аэроплане, в Перми тогда не нашлось.

А когда очередная катастрофа навсегда лишила крыльев самолет Каменского, поэт с помощью пермского чертежника Потапова и механика Иртегова смастерил из обломков «аэроход». На нем Каменский вихрем носился по Каме. Зимой у «аэрохода» заменили поплавок на лыжи, и он заскользил по льду.

Как считают специалисты, «аэроход» Каменского был прообразом современных глиссеров и аэросаней. О технических подделках русского поэта газеты всего мира писали как о новых изобретениях. Однако ни сам Василий Васильевич, ни те, кто помогал ему, не запатентовали свои изобретения. Стихи для поэта оказались все-таки милее, чем техника.

В архиве Каменского сохранилось любопытнейшее письмо знаменитого русского летчика Владимира Александровича Лебедева, где речь идет о попытках Каменского усовершенствовать конструкцию аэропланов

«Ваши модели, которыми вы занимаетесь, — писал Лебедев, — весьма интересны. Любопытно было бы испытать модель какой-нибудь новой формы, например, имеющую крылья, расположенные в форме треугольника, что, по-видимому, уменьшит лобовое сопротивление...» Судя по рисунку, повторяемому в этом письме, модель Каменского удивительно напоминает современный реактивный самолет. А ведь письмо-то писалось в начале века!

И стоит ли говорить о том, почему поездка в Варшаву невольно заставила меня вспомнить Василия Каменского, а знакомство с польским журналистом Янушем Мусялковским сделать и кое-какие находки. В день, когда я собирался покинуть Варшаву, ожидающий меня в кафе на Иерусалимских аллеях Януш с загадочным видом протянул старый-престарый журнал:

— Откройте-ка тринадцатую страницу...

Я развернул журнал и увидел посередине страницы снимок готового к полету авиатора в комбинезоне, кожаном шлеме, замшевых перчатках... Ошибки быть не могло — это он, Каменский! Об этом же говорила и подпись под фотографией.

Это был 50-й номер издававшегося в Петербурге «Синего журнала» за декабрь 1911 года.

Еженедельный недорогой журналчик этот специализировался на детективно-уголовных и остросюжетных рассказах, но охотно уделял место и модной тогда теме авиации. Вот и в этом номере рядом с рассказом Конан-Дойля «Таинственная птица» соседствует сообщение из Парижа об «аэроплане-дрожах», а в объявлении о подписке на 1912 год говорилось, что в журнале печатают свои статьи лучшие авиаторы мира, начиная с Васильева, Ефимова и кончая самим Луи Блерио.

<sup>1</sup> В. Каменский. Путь энтузиаста. Пермь, 1968.

Вся тринадцатая страница журнала отводилась Каменскому. Кроме фотографии, здесь был помещен рассказ «Аэроплан и первая любовь» с подзаголовком «Эскиз пилота-авиатора Василия Каменского». Рассказ посвящался первым шагам поэта в авиацию, его полетам над Пермью и Камой.

— Букинисты разыскали журнал в Варшаве по моей просьбе,— сказал Мусялковский,— он, думаю, будет вам памятью о русском поэте, первом среди своих собратьев по перу прорвавшемся к высокому небу!

Януш, на минуту отойдя к столу, заваленному газетами и журналами, подал мне один из последних номеров «Польша» на русском языке.

— А в этом журнале,— сказал он,— вы прочтете, как польские пилоты авиакомпании «ЛЕТ» осваивают в наши дни самые современные советские реактивные лайнеры ИЛ-62. Разверните-ка тоже тринадцатую страницу...

— Как, тоже тринадцатую?

Действительно, на этой странице я увидел силуэт реактивного самолета и прочел короткое интервью пилота Мариана Витковского:

«Я один из пятерых командиров воздушного корабля «Николай Коперник», который совершает рейсы через Атлантический океан. Нас, весь экипаж, по вполне понятным причинам, прежде всего интересуют технические качества самолета. И надо отдать должное,—это машина высшего мирового класса... Новый советский самолет мы осваивали в Москве. Советские товарищи вложили огромный труд и много сердца в нашу подготовку...»<sup>1</sup>

Подумалось, что записки русского поэта Василия Каменского, получившего когда-то в Варшаве диплом пилота, переключаются с интервью Мариана Витковского, научившегося в Москве летать на сверхскоростных самолетах. Услуга, так сказать, за услугу.

— А, может быть, Витковский тоже поэт?— спросил я Мусялковского.

— В своем деле, конечно, поэт!

<sup>1</sup> «Польша», 1973, № 7, стр. 13.

*«Принимая меры  
для ускорения  
научно-технического прогресса,  
необходимо сделать все,  
чтобы он сочетался  
с хозяйским отношением  
к природным ресурсам,  
не служил источником опасного  
загрязнения воздуха и воды,  
истощения земли».*  
Из документов  
XXIV съезда КПСС.

Современное производство богатырски рушит металл, дерево и камень. Пыль над планетой стоит в буквальном смысле до небес. Особенно там, где грохочут горно-обогажительные комбинаты, где гудят домны, где чадят высотные трубы химических предприятий — одних из главных губителей воздуха. Что ж нынешней индустрии, великокапитальной и всемогущей, так и мчаться в будущее подобно дымящему паровозу? Да, не редкость ныне дым и пыль фабрик и заводов, но все больше и таких фабрик и заводов, которые уже бездымны и совсем не пылят. Небо будущего будет светлым, потому что мы уже не только производим первоклассную продукцию, но и делаем ее высококультурно, то есть надежно оберегая природу...

Обо всем этом думалось, когда я спускался в лифте с семидесятиметровой высоты, с четырнадцатого этажа корпуса обогащения асбофабрики № 6 в городе Асбесте. Огромный корпус, начиненный сотнями «везлоков» асбеста, выбрасывает в час девять миллионов кубометров отработанного воздуха, но его могучее дыхание — чистое. У корпуса нет даже вытяжной трубы. И многие тонны пыли ветер не разносит над лесной округой, а ее отвозят по узкоколейке специальные поезда.



# ЧИСТОЕ

Юрий  
ЛИПАТНИКОВ

Это очень не просто — очищать дыхание гиганта асбестовой промышленности: в необъятный корпус пришлось «вставить» целый воздухоочистительный завод.

## Воздух!

Прежде чем пройти по лабиринтам труб асбофабрики, сквозь гул воздушных струй, хитроумно усмиряющих пыль, полистаем страницы книг и журналов — кто, где и как бережет воздух от загрязнения?

Для подавления пыльных бурь в шахтах используют бактериологически чистую воду. Работают особые установки.

На буровых станках монтируют пылеулавливающие циклоны.

Чтобы дороги в карьере не пылили, их поливают и водой, и соляными растворами. Воздух очищают и в кабинах самосвалов — иначе труд водителя стал бы адским.

Смоленский завод средств автоматики выпускает прибор, который «чувствует» присутствие в воздухе восьми десятков веществ.

Электрофильтры, туманообразователи и оросители — вся эта природоохранительная техника непрерывно совершенствуется.

Горняки Севера, где в разведочных штольнях мороз десять градусов, укрощают пыль водой с добавлением солей — это чтобы штольни не обледенели.

На Красноуральском медеплавильном комбинате смонтирован конвертор для отсоса газов.

Напряженны темпы роста нефтехимии. «И жить торопится и чувствовать спешит» эта отрасль промышленности — чувствовать свое

# ДЫХАНИЕ ЗАВОДА

злодейство по отношению к природе... Инженеры-химики разрабатывают методы мокрого улавливания пыли, конструируют герметизированные транспортеры и всевозможные фильтры для тонкой очистки воздуха.

На Актюбинском химическом комбинате огарковая пыль улавливается в газоходах и на электрофильтрах и затем летит по трубам в бункеры. Пыль — горячая. Охладить? Пыль так мелка, что вода с нее скатывается, как с гуся. К тому же, появляется обжигающий пар. Надо обойти эти трудности! Борьба продолжается...

Комбинат «Уралкалий». Проходческие комбайны снабдили вентиляторами и рукавными фильтрами из ткани. Вполовину пыль утихла. Всячески «крутили» проблему инженеры, и возникла идея: пылеуловитель надо укрепить у самой фрезы. Пыли стало еще меньше.

В апреле 1972 года подписано соглашение между СССР и США о сотрудничестве в области охраны окружающей среды. Предотвращению загрязнения воздуха посвящена целая статья.

В книге «Мир в 2000 году» прогнозируется возрастание концентрации в воздухе вредных веществ. Очищение среды станет значительной технологической проблемой...

## Из волшебных рукавов

Вот теперь вернемся в корпус обогащения, который, выдыхая чистый воздух, вообще снимает проблему очищения среды в своей округе, потому что он ее не загрязняет.

Механик по пневмотранспорту, выпускник Свердловского горного института Юрий Вачаев ведет нас сквозь переплетение гудящих труб, будто сквозь корни фантастически большого дерева.

— Куда они тянутся? — киваем на воздуховоды, преодолев несколько уровней.

— К фильтру! — отвечает Вачаев, и мы уходим выше и выше.

Внизу — циклоны, внизу — «веялки», внизу кружится, летает в сотнях труб асбестовое волокно. И вот мы у двери камеры фильтра. Механик разгерметизировал металлическую дверь, и мы ступили в тамбур. Вачаев закрыл за нами дверь, потом отпустил винт у другой — и мы в камере. Она огромна, как самолетный ангар. И в ней, в два «потока», вдоль всего пролета натянута круглая матерчатая рукава. Их поразительно много — сто семнадцать тысяч штук. Это в них дует пыльный ветер. Это в них оседает пыль. То в одном, то в другом месте пролета пучок молескиновых рукавов начинает трястись — сработал через определенное время механизм встряхивания. Так пыль из рукавов попадает в бункер. Всего шесть десятых миллиграмма пыли на один кубометр — норма чистоты вылетающего из рукавов воздуха. А при входе на фильтр в кубометре воздуха — десять граммов пыли... Вот во имя такой очистки и работает завод-фильтр. Зимой очищенный воздух подается вновь в корпус. Воздух теплый, обогревает здание. Экономия на отоплении — сотни тысяч рублей. За это уральцы и получили премию Совета Министров СССР как за выдающийся проект.

## Асбест без пыли

Нынче комбинат Ураласбест отправляет горный лен тридцати марок в шестьдесят стран мира. Трех маркам присвоен государственный Знак качества. И внутри страны спрос на продукцию асбестовцев неколебимо широк. Асбестовое волокно покупают безоглядно — оно отличного качества. Значит, главная забота производителей не мучает — забота о качестве? Оно устойчиво. Но уходят былые мерки. Теперь мало делать хорошие вещи, надо трудом своим не «давить» на живую природу, на реки и леса, не угнетать их. Именно к полному осознанию этого предстоит прийти в будущей пятилетке, пятилетке качества, работникам тех предприятий, которые еще и продукцию выдают — не блеск, и окружающую природу бесконечно копируют...

В городе Асбесте цветут сады, сверкают юной зеленью скверы. Асбофабрики по отношению к жилым кварталам расположены с подветренной стороны. Но и когда ветер дует с востока, город не окутывает белесая пыль. Поставлен рукавный фильтр и на фабрике № 2 (раньше она «поднимала» в атмосферу до пятидесяти тонн пыли в сутки). Строятся камеры рукавных фильтров на фабриках № 4 и № 5. Количество пыли над городом за последние годы уменьшилось в два раза. А здесь асбест берут в нештучных масштабах: почти половина мировой и восемьдесят процентов союзной добычи горного льна.



# В ОСАДЕ

*Приключенческая повесть*

Юлий  
ФАЙБЫШЕНКО  
*Рисунки Н. Мооса*

Всю ночь шел дождь. Утром похолодало, грязь на улицах смерзлась. Когда Гуляев подошел к исполкому, где хотел отыскать Бубнича, начал сыпать снег.

У исполкома толпились чоновцы, перекидываясь шутками, дрогли на ветру в своих куртках, кофухах и пальто. Около них сплошнo кричали несколько баб с грудными младенцами, проклиная все на свете и требуя хлеба. Часовой на крыльце равнодушно поглядывал на проходящих, даже не пробуя проверить документы.

В исполкоме длинные захламленные коридоры были пусты и темны. На втором этаже у предисполкома Куценко шло заседание. За машинкой мучился вооруженный чоновец, утирая пот со лба и через час по чайной ложке отстукивая буквы. На обшарпанном диване, ладонями обхватив колени, сидела девчонка в кожанке и платке. Верка Костышева, секретарь.

— Здорово, Вер, — сказал, подсаживаясь к ней, Гуляев, — не знаешь, Бубнич здесь?

— Все здесь, — не глядя на него, ответила Костышева. Она не любила Гуляева, и необъяснимая эта нелюбовь странным образом привлекала его к ней, хотя в глубине души он тоже чувствовал к ней антипатию.

— У тебя хотел спросить, — сказал он, разматывая шарф, — ты не помнишь, когда вы с Куценко осматривали склад потребкооперации, там посторонних не было?

Бубнич разрешил оставить пока дело об ограблении складов потребкооперации. Поджог полуэктовских лабазов был актом куда более серьезным. Но сейчас выдалась свободная минута, а Костышеву он в милицию не вызывал, зная, как ее самолюбие будет возмущено допросом, поэтому и воспользовался случаем расспросить ее между делом.

— Я бы всех этих воругов в уездном торге вывела за Капустников овраг — и в расход! — сказала Верка, зло сужая глаза. — Сволочи! Сами, небось, и склад ограбили, и сторожа уробили.

— Воруги-то они воруги, — сказал Гуляев, — да как это доказать.

— Это таким тетеревам, как наша милиция, надо доказывать. Мне и так ясно. Захожу раз к Ваньке Панфилову. Вся семья с чаем сахар трескает. Я к нему: Вань, говорю, где взял? Молчит. Я говорю: а может, ты гад, Ваня, может, не рабочий ты никакой, а так — шпана подзаборная? Город, говорю, на голодном пайке. Бабам с грудными младенцами еле по осьмушке хлеба даем, а ты, говорю, сахарком хрустишь и ни в одном глазу у тебя пролетарской сознательности не видно! Откуда, говорю, сахар?

Гуляев весь напрягся.

Продолжение. Начало см. в № 7.

— Сказал?

— Мне да не скажет! — ответила хмурясь Верка. — Да я б его враз на ячейку поволокла... Мы и так потом его обсуждали.

— Сказал он, где сахар добыл? — нетерпеливо потряс ее за локоть Гуляев.

— Ты руки оставь! — бешено стрельнула в него Верка серыми жесткими глазами. — Это дело комсомольское — куда грязными лапами лезешь? В ячейке состоишь?

— Верка, — сказал он, преодолевая свою неприязнь к этой острой, как бритва, безудержно категоричной девчонке, — ты прости, что я тебе сразу не объяснил. Мы следствие по этому делу проводим. Сахар — раз появился в городе — он только оттуда, из кооперативных складов. Позарез надо знать, как его добыл Панфилов.

Верка пристально взглянула на него.

— Тут дело-то не простое, — сказала она, морща младенчески ясный лоб, — тут дела деликатные. Ванька-то, он у нас теленок. Добрый до всех. У Нюрки Власенко мальчонка заболел. Нюрка-то сама больная, еле ходит. Ванька — мастер ихний. Он мальчонку-то на руки и — в больницу. Спасли его. Сам фершал мазью мазал. Вот за это Нюрка Ваньку сахаром наградила. Две головки дала. Говорит: он у ей от старого режима схоронен был.

Гуляев открыл было рот, чтоб попросить Верку свести его с Панфиловым, как грохнула дверь, и в приемную вломилась толпа взлохмаченных и разъяренных женщин.

— Давай сюда их! — кричала рослая работница в размотавшемся платке. — Гони сюда коммиссаров.

— Хлеба! — истошно кричала исхудалая маленькая тетка в подвязанных к ногам калошах. — Хлеба давай!

Шум стоял неистовый. Чоновец, сидевший за машинкой, вскочив, пытался преградить доступ к дверям, но его отшвырнули, как щепку. Однако, прежде чем женщины добрались до дверей, они распахнулись, и Бубнич с Куценко стали в них, спокойно глядя на бушевавшую толпу. Гуляев и Верка с двух сторон застыли у дверей, готовые прийти на помощь.

— В чем дело, гражданки? — спросил Куценко. — Яка нужда вас привела сюда?

— Именно, что нужда! — ответила рослая работница в платке. — А ты, начальник, видать, жрешь хорошо, коли не знаешь нужды нашей! Голод! Дети голодают!

Дикий шум покрыл ее последние слова. Куценко спокойно ждал. Из толпы вырвалась маленькая баба в калошах и закричала что-то пронзительно и неразборчиво, размахивая перед самым носом предисполкома крохотным темным кулачком.

— Так, — сказал поднимая руку, Куценко, — причина понятна. Дайте слово сказать!

— Слов вы нам полную пазуху наговорили! — опять крикнула рослая. — Ты нам хлеба давай!

— Вот и хочу сказать про хлеб!

Толпа сдвинулась вокруг. Гуляеву горячо дышали в ухо.

— Товарищи женщины, — сказал Куценко, дергая себя за ус, — дела такие. Враг пожег склады. Об этом известно?

— И что? — закричали из толпы. — Ты нам зубы не заговаривай! Где твоя охрана была?

— Идет гражданская война, товарищи бабы, — глухо сказал Куценко, — мы строим первое в мире государство рабочих. Государство ваше и для вас! Трудно нам. Враг у нас ловкий. Бьет по самому больному месту.

— Мы-то с голоду мрем, а буржуи колбасу трескают! — крикнула женщина в калошах.

— Всех к стенке! — закричала женщина с красивым, но мучнисто-серым лицом. — Гады! Награбили при старом режиме!

— Ваша классовая ненависть правильная, — сказал Куценко, перебивая шум, — но только знайте, гражданки, шо самосудом делу не поможешь!

Толпа притихла. Куценко говорил уже свободно и легко, указывая, что и как надо сделать, чтобы выжить в эти трудные дни, а к Гуляеву пробралась Верка Костышева, и, мотнув головой в сторону красивой работницы с мучнистым лицом, шепнула:

— Вот та — Нюрка Власенко! Баба шалавистая! Ты гляди с ней, допрашивать будешь, палку не перегни. Нервенная она, может и глаза выцарапать.

Гуляев проследил, как эта женщина ведет себя в толпе, отметил, что даже в потертом своем пальтишке и черном платке, она как-то выделяется среди остальных работниц, и определил, что она здесь совершенно посторонняя, что она — по случаю. Женщины, убежденные Куценко, уже собирались уходить. У многих на лицах было выражение улыбки-пристыженности. Рослая работница, посмеиваясь в платок и отводя глаза, винулась в чем-то перед Бубничем. Тот тоже улыбался, но в глазах его был холод. Бубничу было сейчас не до разговоров. Раз так вели себя женщины-пролетарки, то как-то же было настроение у большинства суховцев.

Гуляев опять выделил из толпы Власенку. Она уже стояла в дверях, щелкала семечки и поджидала товаров.

«Может быть, сейчас поговорить?» — подумал он. И тут же решил, что это неосторожно. Надо выяснить о ней все. Только тогда допросить. Но, между прочим, поговорить не мешало. Он подошел и встал рядом с ней, притиснувшись плечом к стене.

— Шуму сколько наделали, — сказал он, подлаживаясь под чей-то чужой язык и от этого

чувствуя себя в глупой роли неумелого сыщика. — Было б с чего!

— Сам-то жрешь, — лениво ответила ему Нюрка, — вот тебе и кажется, что не с чего. Имел бы ребенка, по-другому запел, кобель здоровый!

— Трудное время, — сказал он, не желая спорить, — надо потерпеть.

— А мало мы терпели? — тут же вскинулась Нюрка. — Мы-то, бабы, одни и терпим, не вы — жеребцы кормленные.

— Давно замечаю, — сказал он, косясь на нее, — больше всех кричит не тот, кому на самом деле плохо, а тот, кто как раз лучше живет.

— Это про кого ты? — Нюрка, выставив грудь, повернулась к нему. — Про меня что ли?

— Почему про тебя, — пробормотал он, слегка смущенный.

— Я те дам на честных женщин наговоривать! Вот ребятам скажу, они те холку намнут, дубина жердявая.

— Пошли, Нюрк, пошли, — потянула ее за собой рослая работница. А женщина в калошах шепнула, дотянувшись до уха Гуляева:

— С этой не вяжись, парнишка, а то перо в бок получишь...

Скоро Гуляев и Верка остались одни в опустевшей приемной. Дверь к председателю была открыта, и из-за нее порой доносились отдельные фразы и слова. Верка сидела на диване. Пружины в нем торчали, и Верка все время ерзала, стараясь сесть поудобнее.

— Вер, — Гуляев присел на валик, — ты эту Нюру хорошо знаешь?

— Чего бы ее не знать, — ответила Верка, прислушиваясь к тому, что говорилось за дверью. — На нашем заводе лет пять уж как работает. Ребенок у нее. Баба занозистая, но дурного от нее нету.

— Вер, — сказал Гуляев, — а как мне Панфилова повидать?

— Зачем он тебе? — спросила Верка, недоверчиво окидывая его серыми непримиримыми глазами. — Он при карауле тут.

— Здесь? — обрадовался Гуляев.

— Хоть бы и здесь! Я его к тебе не потащу! — отрезала Верка. — Что ты нам тут за начальник?

— Никакой я не начальник, — сказал Гуляев. — А просто нужно мне знать все про эту Нюрку. И это не личный интерес, а дело. И ты, как сознательный товарищ, должна мне помочь, а не собачиться.

Верка посмотрела на него, и он увидел ее золотистые ресницы и почти белые брови, которые, если присмотреться, придавали курносому Веркиному лицу вид добродушного шпица — тот очень хочет выглядеть свирепым, а на самом деле веселый и мирный.

— Должна ты мне помочь в расследовании,



Костышева, — сказал он деловым тоном, и это подействовало.

— Если по делу, — размышляюще пробормотала Верка, потом встала, потопталась немного, чтоб согреться, и вышла...

— Наши товарищи посланы для выполнения этого задания, — услышал он низкий голос Бубнича. — Пока от них нет вестей. Как революционеры-марксисты мы должны быть готовы ко всему. Даже к их гибели. Такова диалектика борьбы. Но та же диалектика учит нас ждать и надеяться до последнего мига. Ждать не сложа руки, а действуя. Мы и действуем. Принимаю на свой счет критику в адрес ЧК и милиции. Да-да, товарищ Иншаков, не отмахивайся. Поработали мы неважно, раз дали контре совершить два таких преступления, как грабеж одного и поджог других складов. Но, товарищи, вы должны принять во внимание: все наши силы отвлечены на борьбу с Хреном. Положение в городе тревожное. Сегодняшнее поведение женщин-работниц говорит за то, что даже самый надежный пролетарский элемент города переживает сомнения. На все у нас физически не хватает сил. Сякинский эскадрон ненадежен. Наша задача заставить его стать военной и сознательной силой. Мы занимаемся этим... Главная же угроза сейчас — это усиливающаяся деятельность деклассированного элемента и буржуазии в городе. Мы должны быть готовы ко всему. По данным ЧК...

Кто-то подошел и закрыл дверь. Гуляев молча глядел в заплеванный, усеянный шелухой семечек пол.

Вошла Верка, подталкивая перед собой невысокого ловкого парня, в армейской фуражке, длинном штатском пальто и обмотках. Винтовка без штыка висела у него на плече дулом книзу.

— Вот Панфилов, — коротко сообщила Верка и снова устроилась на диване.

— Гуляев — следователь милиции, — сказал Гуляев, вставая и подавая руку.

— Фу-ты ну-ты! — сдавив руку Гуляева, засмеялся парень. — Так чего понадобился?

— Скажите, товарищ Панфилов, — Гуляев сознательно вел разговор официально. — Сахар, который дала вам Власенко...

— А-а! — покраснел парень. — Я ж не крад его!

- ... она на ваших глазах его доставала?
- Как доставала?
- Вы видели, где и как он у нее хранится?
- Видел. В мешочке таком.
- Большой мешок?
- Махонький.
- Сахару в нем было много?
- Кила три.
- Немало.
- По нынешним временам — клад.
- Откуда ж она его добыла, этот клад?

— Говорит: с прежних времен хранила.

— А вы верите?

Парень подумал, посмотрел на Гуляева, отвел глаза.

— Нюрка, она девка-то ничего, своя.

— Скажите, а что за знакомства у нее?

— У Нюрки? — парень рассмеялся. — Ну я — знакомство. Еще наши парняги...

— А кроме?

Парень посмотрел на Верку. Та вмешалась.

— Выкладывай, Вань. Милиция знает, зачем ей это надо. Давай, как на ячейке. Крой.

— Нюрка — она у нас лихая, — сказал Панфилов с некоторым усилием, — так, навроне, в доску своя, но есть у ей один изъян. — Он остановился и снова взглянул на Верку. Та тоже пристально и настороженно смотрела на него. — В общем, значит так! — решительно рубанул Панфилов рукой по воздуху. — Она, понимаешь, с блатными шьется. Шпана вокруг ее... Тут такое дело. Ребенок-то у нее — он при прошлом режиме еще сработан. Был у нас в городе Фитиль, не слыхали?

Гуляев покачал головой.

— Сперва был как все, потом подался в Харьков, еще огольцом, а потом уж наезжал чуть не в своем шарабане. В большие люди пробился. Говорили — шайкой заправлял. Вот от него Нюрка пацана-то и нагуляла. Перед самой революцией накрыла его полиция. А потом вроде мелькал он в городе. И, главно, стали к Нюрке ходить разные налетчики... И всех она примаёт. Одно время перевелись они тут, а вот опять, значит, появились.

— А Фитиль?

— Про Фитиля ничего не знаю.

— Ясно, — сказал Гуляев. — Вера, могла бы ты мне помочь в одном деле?

— Если общественное — помогу, — сказала Верка.

— Будь спокойна — не личное... А вы, товарищ? — он посмотрел на Панфилова.

Тот спокойно встретил его взгляд.

— Раз Верка с вами, я тоже.

— Мне надо, чтобы вы ввели меня к Власенко. А потом придется, возможно, провести и обыск.

Верка помрачнела.

— Неудобно как-то.

А Панфилов сказал прямо.

— На такие дела я не мастак. Живу рядом, шабер. А тут — обыск.

Гуляев усмехнулся, хотел что-то сказать, но вмешалась Верка.

— А на революцию ты мастак? — спросила она Панфилова. — Так что давай, Вань, бросай дурака валять. Раз требуется, надо сделать. Как договоримся, Гуляев?

— В шесть часов я прихожу к вам на Слободскую и мы все идем.

Уже смеркалось, когда впереди замерцали огни, стал доноситься собачий лай, рев скота.

— Посоветоваться надо, — сказал, сползая по склону оврага, Аристарх Григорьевич. — Кабы на свою голову приключений не схлопотать.

Фитиль заскользил по мокрой глине оврага и ловко затормозил перед самым ручьем.

Клешков последовал за ним. Аристарх зачерпнул ладонями воду, выпил из них, как из ковша, стряхнул последние капли на лицо, обер его длинным платком, добытым из-под чуйки, и присел на свой «сидор». Фитиль нагреб палых листьев и уселся на них. Клешков стоял, рассматривая узкую балку, заросшую рыжим кустарником и заплесневелым бурьяном, ивы, склонившие все еще свинцовые свои шапки над ручьем. Вода в ручье глухо шумела, она была темной и холодной.

— Вот жизнь какая путаная, — сказал Аристарх, добывая в таинственных карманах под чуйкой спички, — сидишь в городе, так тебе этот Хрен на каждом шагу мерещится. Вышел за окраину — его днем с огнем не сыщешь.

Фитиль мрачно разглядывал отстающую подошву сапога. Маленькая кепочка была натиснута до самых ушей. Его хищное и зоркое лицо, с вечно готовыми взбукнуть и пропасть желваками было в непрестанном движении. Он то прищуривался, оглядывая своих попутчиков, то начинал хмурить лоб и нервно улыбаться, то весь словно чугунал — становился неподвижен и черен.

— Эй, милиция, — спросил он, — у коммунистов-то был шмон после твоего побега?

— И после твоего был шмон, — огрызнулся Клешков.

— Как дети малые, — с ласковостью в голосе, не заглушавшей строгого предупреждения, оставил их Аристарх.

— Я вот к чему, — покусывая травинку, сказал Фитиль. — Если красные разведки выслали, а Хрен со своими хреновину порет, как бы нам не засыпаться, кореша!

Все помолчали. Негромко шелестел у ног ручей.

— Я так скажу, — решил Аристарх, — айдате, братики, в деревню. Деревня должна наскрозь быть за него. Иначе как же? Поведаем кому из головастых мужиков об нашем деле, не обо всем, а так — с краюшку, он нас и сведет. Ась?

— Пошлепали! — сказал Фитиль. — Эй, че мурило, кончай портки просиживать!

Они вылезли из оврага и, следуя за емко вышагивающим Аристархом, дошли до первой поскотины. Позади всех, прилепывая надорванной подошвой и затейливо матерясь, плелся Фитиль.

— Войдем, хатку поищем получше, там и сговоримся с хозяином, — сказал Аристарх, пролезая под поперечную слегу.

Почти немедленно вслед за его словами из-за плетня выпрыгнул огромный волкодав и ринулся им навстречу.

— Забодай меня чулком! — крикнул Фитиль. — Князев, прочисть зенки!

Аристарх окаменел. Волкодав захрипел и, подскочив, обнюхал его.

Клешков едва успел схватить за руку Фитиля, полезшего за ножом.

— Убьют! — крикнул он.

— Я сам его запорю, гада! — скрипнул зубами Фитиль, пытаясь вырвать руку у Клешкова.

Волкодав, как будто услышав угрозу, рванулся к ним. Фитиль вырвался из рук Клешкова и махнул ножом. Волкодав отпрыгнул и оскалился. Фитиль согнулся, чуть отставил от бедра руку с ножом и шагнул навстречу собаке. Волкодав захрипел и приготовился к прыжку.

— Кто такие? — закричал чей-то голос.

Князев что-то отвечал своим медовым голосом, а волкодав и Фитиль ходили друг около друга, как два зверя одной породы.

— Беркут, домой! — крикнул тот же голос, и собака, оглядываясь, отбежала.

Не торопясь подошел мужичонко с винтовкой под мышкой, в лаптях и свитке, накинута поверх голого туловища. Видна была волосатая тощая грудь.

— Калики перехожие? — спросил он, нехорошо усмехаясь. — Ну ходи в Совет, там разберут.

Совет — это слово радостно обожгло Клешкова, — значит, здесь Советская власть, но он тут же вспомнил о своем задании и понял, что теперь все еще больше осложняется. По топкой грязи улицы мужик отконвоировал их в большую хату, стоявшую особняком. Плетня у хаты не было, деревья сада стояли как-то вразнобой и над дверью торчала кособокими буквами написанная вывеска «Василянский Совет депутатов». Пока мужичонко вел их по селу, им попалось не больше двух прохожих. Пробежала баба с пустыми ведрами, после чего Князев начал усиленно креститься, да встал за плетнем мужик в папахе, лениво глядевший на них, пока они не прошли.

— Входи! — сказал конвоир.

Аристарх, подтолкнув вперед Клешкова, осторожно ступил за ним в сени. Сзади, пустив очередной заряд мата, громыхнул по ступеням Фитиль.

В комнате, куда они вошли, густо висел дым, смрадно пахло. От стола подняли голову трое здоровенных мужиков.

— Ось тоби, председатель, трех курошупов! Коли бы не кобель, ни в жисть бы не поймал, — сказал мужичонко, садясь на скамью у стены.

— Хто такие? — спросил самый дородный из трех, отваливая в сторону спавшую на лоб шапку. — Шо хотели?



Князев, перекрестившись на угол, выступил вперед.

— Так что страннички мы, товарищ председатель, ушли мы с города от голодухи, бредем, на вещички продукты меняем.

— Покажь вещички, — потребовал председатель. Остальные чадно дымили самокрутками, рассматривая незнакомцев.

Князев развязал «сидор», суетливо стал выкладывать оттуда женские шали, мужские носки, бритву фирмы «Жиллет», ножницы, трехдюймовые гвозди.

— Гарно! — сказал председатель, подгребая все это по столу к себе. — Сколько берешь?

— За все? — спросил Князев, приглядываясь

к сельскому начальству и чуть подступая к столу.

— За усе.

— Так мешочек хлебца бы, бухваночек на тридцать, — ележно запел Князев, — да лучку головок с десяток!

— За це? — оттолкнул от себя председатель весь ворох, так что гвозди раскатились по столу, и оба председателява помощника ринулись их собирать.

— За це! — осклабился Князев. — По нонешним временам редкие вещички-с!

— Голова, — сказал Фитиль от двери, — шамать у тебя не найдется? Вторые сутки без шамовки.

— Це побачим, — буркнул председатель и завернул ус. — Опанас, як с ими будемо?

— Помозговать треба, — сказал солидный Опанас и тоже пригладил усы. — Больно вони на доглядчиков похожи.

— Да что вы, господа хорошие, — опять нежно запел Князев, укоризненно улыбаясь, — как такое вам в голову могло прийти. На кой ляд нам что выглядывать, да и кому это нужно. И без того скоро все кончится, к единой анархии все придет.

— К анархии? — густо спросил председатель. — Ты, видно, за Хрена?

Князев сощурился, оглядел всех трюх и засмеялся.

— Я, граждане, ни за кого. Мы тут все сами за себя, у нас идейная программа известная, не даем мы веры слуху, лишь бы сыто было брюхо!

— То червонные лазутчики! — вдруг сказал багровый маленький человек, сидевший с краю стола. — Нюхом чую.

— Брось, дядя, из лужи штанами черпать, — сказал Фитиль, усаживаясь на скамью рядом с конвоиром, — красным сейчас хана приходит, какие мы лазутчики!

— Ни, — сказал председатель, выпучиваясь на пленников, — вони от Хрена. Нашу вольну Васылянку треба ему завоевать! Так мы ж. не покоримся! Ось! — и он так грянул ручищей по столу, что все лежащее на нем взлетело и со звоном и стуком посыпалось на пол. Тотчас же тощий мужичишко и второй товарищ председателя упали на колени и начали собирать вещички, изредка сунув кое-что по карманам.

— Господин-товарищ, — подступая вплотную к столу, вытянул просительно шею Князев, — вы-то сами, извиняюсь, за каких стоите?

— Мы за себя стоим! — отрезал председатель. — У нас вольна республика! Мы ни с кем и ни за кого!

— Так это по-нашенски! — даже прихлопнул в ладони Князев. — Гражданин-господин, вы аккурат с нашей программой совпадаете.

— А не запереть ли их у клюню, Тарас? — спросил маленький и багровый. — Ей-бо, це лазутчики, если не хуже!

— Запрет до ходу! — решил председатель и вынул из кармана кольт. — Микита, веди их до клюни! Завтра допрос чинить будем.

Микита подхватил свою винтовку и направил ее на сидевшего Фитиля.

— Вставай, артист!

— Отдохнуть не даст, цибуля поганая! — проворчал Фитиль и встал.

Их повели в клюню.

Еще в сенях его встретила Пафнутьевна и вместо всегдашней воркотни посветила ему до самой лестницы, шепнув вслед:

— Доброго здоровья тебе, милостивец, всех нас выручил, батюшка, благодарность тебе наша.

Размышляя над этими чудесами, Гуляев поднялся наверх и увидел свет в своей комнате. Он толкнул дверь.

На стуле сидела Нина, а возле его перестеленного сундука стояли цветы.

Он поздоровался.

— Как вам сегодня работалось? — спросила Нина, с ожиданием поглядывая на него.

— Ничего, — ответил он, постоял молча, потом поднял голову. — Нина Александровна, — сказал он, — вчера я совершил служебное преступление. Во всем городе нет лишней осьмушки хлеба, а я утаил от своих товарищей ваши запасы. Я чувствую себя преступником. И ваша заботливость обо мне похожа на взятку. Очень прошу, давайте вернемся к прежним отношениям.

Она встала.

Даже в тусклом пламени свечи было заметно, как побелело ее лицо.

— Вот ка-ак! — сказала она дрогнувшим голосом. — Вот как, значит...

Она решительно прошла к сундуку и стала вытаскивать из него пакеты, ящички, банки.

— Вот, — сказала она, расставив все это по полу, — прошу вас, отдайте им, обреките нас на голодную смерть! Но только утешьте свою красную совесть!

Он смотрел на концы своих сапог.

— Мы не должны существовать, — гневно выговаривала она, задыхаясь, — только потому что принадлежим к враждебному классу? Но бог, создавая нас, не дал нам право узнать, чьи мы детьми мы родимся! — и вдруг почти с рыданьем крикнула: — А я-то думала, что вы человек, Владимир Дмитриевич, а вы!.. — И убежала.

Через минуту тяжело пробухал по ступеням и рухнул перед ним на колени сам Полуэктов.

— Не погуби, милостивец, — взмолился он, пряча под пухлыми веками глаза. — Я-то умру, ладно, баб моих не погуби, в чем они-то виноваты? Подохнут голодной смертью — и все.

— Я никуда доносить не собираюсь, — сказал Гуляев. — Встаньте. Прошу об одном: уберите эти продукты из моей комнаты и никогда больше не пробуйте угощать меня ими!

Купец, пробормотав слова благодарности, начал торопливо сгребать вытасщенные из сундука припасы...

Через некоторое время в доме все затихло.

Гуляеву стало вдвойне не по себе. Мучило сознание какой-то своей беспомощности, отворачивания к самому себе.

Он поднял увесистую свечу — хозяйева успели заменить его огарок — и подошел к стене. Юная женщина на картине все бежала по листопаду, все бежала куда-то и от чего-то... Гуляев отошел к окну. Сад гудел под осенним ветром. На душе

было одиноко. Он спустился вниз. На кухне никого не было, он быстро поставил себе чай и приготовился ждать, пока он вскипит. Послышались шаги. Он двинулся к двери, чтобы уйти, и встретился при выходе с Яковлевым.

— Здоровы? — спросил Яковлев, крепко сдавливая его ладонь горячими пальцами.

— Да, — ответил он неохотно и вышел на нижнюю веранду. Там было душно и он открыл окна. Яблони рокотали теперь поблизости. Луна, бродя где-то высоко, высветила смутным золотом край яблоневого кроны. Дерево колыхалось, то входя, то выходя из лунного марева.

Сзади неслышно подошел Яковлев, встал рядом.

— Владимир Дмитриевич, — спросил он своим негромким голосом, — вы ведь где-то учились?

— На первом курсе университета, — ответил Гуляев. Говорить ему не хотелось, но этот человек был любопытен.

— Скажите... — сказал Яковлев, словно не решаясь, — а вам, а вы...

— О чем вы? — помог ему Гуляев, все глядя на мертвенную паутину лунного света, то осевшую верхушку кроны, то облетающую с деревьев.

— Вам не мешает ваше образование на службе? — решил, наконец, Яковлев. — Как на него реагируют ваши товарищи?

— Хорошо реагируют, — сказал Гуляев и краем глаза скользнул по худому лицу и чеховской бородке собеседника. — А почему вы об этом?

— Видите ли, я все в размышлении о себе, — сказал Яковлев. — Чувствую, что долг меня призывает сейчас пойти и рассказать о своем былом офицерстве. Когда против власти идет толпа, азия, анархия — я с властью. Но мучают сомнения: все-таки, понимаете, не ко двору я там.

— Сомневаетесь, так не ходите, — сказал Гуляев, — у нас сомневающихся не любят. Вот когда решитесь, тогда милости просим.

Они постояли молча. Аромат сада, тяжелый, земной, окутывал их.

— Вспомнил почему-то, — сказал вдруг Яковлев, — еще в детстве, до японской войны было. Мы снимали дачу под Дарницей. Сестра у меня была парализована с детства, ее возили в кресле. Однажды отец ей купил мяч — радости было на несколько дней. Она могла играть с ним возле кресла. У мальчишки нашего дворника была собака. Обычная дворняга, доедавшая обедки. Она раз подобралась к мячу и прокусила его. Сестре стало худо. Я тогда решил проучить собаку: взял отцовский хлыст, нашел ее за будкой и отхлестал. И что меня больше всего поразило: она и не пыталась сбежать или огрызаться, только взвизгивала от боли и все смотрела большими трахомными глазами...

Гуляев взглянул на собеседника: у того было недоуменно печальное лицо.

— И что? — спросил он.

— Что — «что»?

— Что дальше?

— Дальше? Дворников сын проломил мне камнем голову.

— А потом?

— Отец рассчитал дворника. Если вы к этому, то вот нужный вам конец.

Гуляеву стало неловко.

— Нет, — сказал он, — я не об этом.

— А я не к тому и рассказывал, — Яковлев кивнул и вышел. Гуляев тоже поднялся наверх и снова долго стоял у картины.

— Ну куда ты бежишь? — спрашивал он у женщины на аллее. — Куда?

Они просидели в клуне часа три, пока о них вспомнили. Князева тот же мужичонка с винтовкой увел куда-то, а Клешков, оставшись в темной холодной клуне вдвоем с Фитилем, загрустил. Фитиль ворочался рядом на сыром зерне, наваленном до самой стены, скрипел зубами, бормотал что-то. Клешков думал о том, как все пошло куда-то вкось от задуманного плана, начиная с той самой минуты, когда не удалось без драки отобрать винтовку у Васки Нарошного. Потом эта пальба, неистовый рывок через сады и проклятый дьякон... С другой стороны, и дьякон был не помехой, а даже удачей, но вот потом... Его все держали в пристройке и даже до уборной сопровождал дьякон. Он держал руку в кармане, и обоим было понятно, какую игрушку он там нянчит. И вдруг снова явился Князев и дьякон, а с ними этот Фитиль. Князев быстренько изложил суть дела. Клешкова он берет с собой. Ежели что не так — амба... Вот и оказался Клешков в компании с Князевым и Фитилем. Фитиль вызывал у него интерес и держал его в напряжении даже больше, чем Князев. Старик был более или менее ясен Клешкову. У него было дело к Хрену, дело щекотливое. Организация, в которую входил Князев, была иной окраски, чем движение Хрена. Это было, как понял Клешков из инструкций, данных ему Князевым, типично монархическое, даже для белых — излишне правое течение. Князев и те, кто был с ним, ненавидели анархистов почти так же, как красных. Но сейчас что-то назрело, почему и решено было окончательно объединиться с Хреном в деле свержения большевиков. Какое-то отношение ко всему этому имел Фитиль. Его внезапное появление в Сухове и поспешность, с которой его заставили покинуть городок. Все это надо было вызнать. Но очередная неудача выбила Саньку из колеи. Надо ж было так случиться, чтобы вместо Хрена они попали к этим самостийным сеелянам!

— Финарь ему в кишки, — сказал сипло Фитиль, — завел нас козел! Эй, пацан, спишь?

— Не сплю, — отозвался Санька. Он лежал на зерне, съезжившись от холода.

— Связались мы с тобой, ядрена палка, с ашкимотами, — сказал Фитиль. — Как я так промахнулся?!

— Аристарх Григорьевич — сурьезный человек, — сказал Санька, — придумает что-нибудь.

— Придумает — как же! Соси морковь — она сладкая! — Фитиль зашуршал зерном, не то поворачиваясь, не то садясь. — Раздолбай я, раздолбай! Надо было этого жлоба, что нас у деревни накрыл, пришить и — рвать когти!

— Аристарх Григорьевич знает, — уныло сказал Санька, ведя свою игру, — он головастый!

— Дубарь ты, малый! — отрубил Фитиль.

Опять зашуршало зерно, потом уже с другого конца клуни донесся голос Фитиля:

— Слышь, ползи сюда! Кажись, доска поддается.

Санька пополз было на зов, но дверь открылась, и в клуну влетел Князев. От пинка конвоира он сел в зерно, потом прилег. Дверь захлопнулась. Свет, только что мутно плеснувший в глаза узникам, пропал.

— Дела не важнецкие, ребятушки, — пробурчал каким-то не своим голосом Князев. — Бьют, растуды их мать!

— А ты мечтал, что они тебе шамовку выставят? — спросил язвительный голос Фитиля. — Индейку в рассоле? Филе из барашка? Старый пень!

— А-ю! Дружочек, как ты заговорил! — ласково, но предупреждающе запел Князев. — Не рано ли ты, Фитилек угарный, чадить начал? Ай забыл, какие дела я за тобой знаю?

Опять посыпалось зерно. Кто-то прыгнул сверху. Тонкий голос Князева высипел:

— Са-ня, спаси!

Санька кинулся на борющихся. Фитиль душил Князева, и Санька рывком отбросил Фитиля в сторону, завернул ему за спину руку.

— Что ж ты дружбу нашу рушишь, голуба? — с высвистом спросил Князев, и по скрюченному телу Фитиля прошла судорога.

— Дядя Аристарх, — сказал Санька, — вы его не бейте. Еще ударите, я ему руку отпущу.

Слышно было, как Князев полез куда-то по зерну.

Санька выпустил руку Фитиля и тотчас отступил. Но Фитиль и не думал драться. Он молча лег на зерно и затих.

— Завел ты нас, корявый! — сказал он после долгого молчания.

— А ты слушай старших, спесивец, — злобно профистулил старик. — Не знаешь ничего, пути не видишь, а вопишь, как зрячий,

— А тебе видно? — спросил Фитиль. — Куда

завел-то нас? Эти лопухи возьмут да шлепнут!

— А ты жди, жди, темная твоя душа! — иступленно взвизгнул у стены старик. — Жди, и зло изыдет!

Не разговаривая, они просидели в полной темноте до самого рассвета. Когда тусклые его змейки поползли во все щели, усилился ветер. Замерзший Санька вдруг почувствовал, что, не смотря на холод и безнадежность, веки его слипаются. Он засопел и утонул в топкой нервной дреме.

Проснулся он от бешеного рева, топота и выстрелов. В клуне было полутемно, но контуры его спутников были видны. Князев стал прыгать на зерне, чтобы добраться до высокой щели. К нему на помощь, увязая по колено, заспешил Фитиль. Санька тоже полез к ним.

— Если красные — нам хана! — бормотнул Фитиль.

Старик, не говоря ни слова, согнул Саньку за шею и влез ему на плечи.

— Что там? — торопил снизу Фитиль. — Да рот-то раззявь, старая кобыла?

Но Князев точно прирос к щели. Вдруг брякнула щеколда, и они все трое рухнули в зерно.

— Арестованныя, валяй сюда! — заорал, распахивая дверь, огромный парень в кубанке. — Слобода!

Все трое кинулись к двери, толкаясь, выскочили на двор и остановились. В сером молоке восхода из тумана возникали и пропадали конные. Все село было полно топотом коней, шумным передвижением людей, лязгом оружия. Переглядываясь, прислушиваясь, они добрались до крыльца и остановились. Там толкались местные бабы, с которыми перемигивались вооруженные до пят парни в кубанках и малахаях, стояло несколько мужиков, вполголоса делясь новостями. С каждой минутой во дворе становилось многолюднее. У дверей часовой, молодеватый черноусый мужик в шинели и армейской папаше, отпихивал прикладом лезущих внутрь.

— Охолоны! Батько важные дела решает!

— Кажись, надо и нам до атамана добираться, — с подрагиванием в голосе сказал Князев, — пришло наше времечко.

— Ясно, не красные, — подтвердил Фитиль. — Я у одного спрашиваю: какой масти, ребята, будете? Тот говорит: масти бубнового туза...

Распахнулась дверь, вышли двое парней с винтовками под мышкой, за ними, подталкиваемые стволами, выскочили и неуклюже затоптались на крыльце трое толстяков — местная сельрада. У всех троих на лицах синели и краснели знаки знакомства с атаманом — все трое были бледны и остолбенело ялялись перед собой. Конвоиры прикладами согнали их с крыльца, поставили кучкой, отделив от других местных, и тогда на крыльцо, позвякивая шашкой, вышел

толстый приземистый человек с обрюзгим лицом, в красной феске и голубых шароварах, свисавших на голенища сапог.

Конные, окружившие толпу, хрипло загорлашили. Кое-кто из толпы поклонился. Князев протолкался в первый ряд стоящих и, трижды исто-во перекрестившись, поклонился в пояс. Хрен заплывшими маленькими глазами выделил его из толпы и важно кивнул в ответ.

— Люды! — сказал Хрен. — Мы вольные казаки! Стоим за анархию и слободу! Комиссарам и чрезвычайкам пушаем юшку и ставим точку! — он прокашлялся, потом налил кровью. — А шобы карать зрадников и прочую контру, — он замолчал и тупо оглядел стоящих, — це вам усе объяснит мой главный заместитель Охрим Куцый.

Из-за спины атамана выдвинулся длинный сутулый человек в огромной карачаевской папахе, в расстегнутом полушубке, с плетью в руке. На широком длинноносом лице сверкал один глаз, веко другого было накрепко прикрыто, как заклепано.

— Це Кривой, — услышал Санька позади себя. — Он Хреном как конякой вертит.

— За яку вожжу потягне, туды и той, — подтвердил второй голос.

Подъехал конный и, увещевая, звучно врезал по чьей-то спине нагайкой. В наступившей тишине слышно было, как потрескивают ступеньки под спускавшимся франтоватом хлопцем из свиты и как загнанно дышат арестованные. Неожиданно и звонко ударил неподалеку петух.

— Громадяне, — сказал одноглазый, — це, — он ткнул плетью в троих внизу, — це гнусный и контровый элемент! Батько Хрен поднял над округой наше черное знамя. За вольную крестьянскую долю, за слободу! Шо ж делают ваши избранные головы? С подмогой идут навстречу великой правде анархии и слободы? Нет! Они сидят, як вороны над падалью, и гавкают, шо они ни с нами, ни с красными комиссарами, ни с бароном Врангелем... Ось и рассудите нас, громадяне. Восстание по усему уезду, поднялся великий селянин супротив угнетателей, супротив белых господ и красных нехристей, а они задумали сами отсидеться, да и вас заманили, вас, честных селян!

В толпе загомонили.

— Це у точку!

— Ходу не давали!

— За власть, як дворняга за стервво, уцепились!

— О, це слово самого селянина, вольного селянина, шо поднимается за свою слободу и долю! — подхватил Охрим. — Вцепились эти сучки в свою власть, як в стервво! Хотели сами всем заправляты, всему быть головами, а до народной доли да казацкой воли им никакого дела! — он сделал паузу, затем повернул голову



к стоявшему рядом Хрену. — Наш батько, он за волю! Он за народ. Он не желает вмешиваться в приговор. Треба вам, братцы, сказать, шо за-служивают цей злодеи и изменники! Решайте, громадяне.

На секунду наступила тишина. Хрен молча глядел перед собой маленькими недовольными глазами.

— Ошиблись они! — крикнул чей-то голос, и сразу обрушился гвалт.

— Поучить их — и ладно!

— Нехай живут! Ошиблися!..

Настроение толпы было явно в пользу освобождения. Охрим прислушивался, повернулся к атаману. Толстое лицо Хрена побагровело. Крики из толпы его явно не радовали. Одноглазый что-то нашептывал ему на ухо. Видно, уговаривал.

Неожиданно из толпы выступил Князев. Его длинные сивые волосы, странная фигура в поддевке, благостно улыбающееся лицо заставили толпу умолкнуть.

— Дозвольте, граждане, и нам, каликам перехожим, словцо молвить, — тонко пролился его голос.

Санька увидел, как Хрен вопросительно повернулся к Охриму, а тот шагнул было вперед, но Князев уже говорил.

— Вы, свободные граждане села Василянки, должны ноне судить свою избранную власть. Батька Хрен, защитник наш, дал вам полную волю постановить, как захотите. Так дозвольте ж, граждане, сообчить. Вот мы трое идем с горю. Власть там у христопродавцев-большеви-ков. Мучают они добрых людей, пытками да страхом выманивают потом да кровью нажитое имущество, довели до голодухи, до холодной смерти. Сами жрут, раздуваются, радуются, что у других кожа к ребрам прилипает. — Он повернул голову к Хрену. — Давеча склады сторели. Возможно, что сами и пожгли. Все товары да продукты вывезли да схоронили по тайным местам, а склады ночью пожгли, чтоб людям очки втереть. Вот какие дела на божьем свете деются... — Князев примолк.

По толпе прошел ропоток, но она ждала продолжения. Видно было, что и Хрен, и его люди слушают с большим вниманием. Фитиль толкнул в бок Саньку, шепнул:

— Хитер подлюка! Кому хошь мозги вправит.

Князев поднял голову, словно очнулся от какой-то думы.

— Вот и хотел я сказать вам, люди добрые. Весь белый свет ополчился супротив антихриста с красным флагом, да силен антихрист! И не тем силен, что взаправду сила у его, а силен нашей глупостью да разобщенностью. Кого комиссары не грабят, кого не казнят? Вас, мужиков, первых, нас, городских, не меньше. А за кем идете? За этими дуболомами? — Князев ткнул рукой в

троих у крыльца. — Батько Хрен силу поднимает народную, всех собирает, чтоб опрокинуть проклятую антихристову власть, а вы тут, как в берлоге, от всех отгородились, мешаете пакость эту люциферову осилить! Вот и хочу напомнить вам, люди добрые, василянские жители, что не помогали вы батьке Хрену и воле народной скинуть комиссаров, а мешали. Но вы не разумели, а ваши начальники из Совета — те по умыслу. Большевики они по натуре, как на духу говорю, большевики!

Толпа взорвалась криком. Князев молча ждал. Ждали и на крыльце. Князев заговорил, и толпа затихла.

— Вот и говорю вам, как со стороны прохожий, говорю: докажите вы свою преданность батьке, докажите, что вы за свободу да супротив общего врага, выдайте своих сельрадчиков батьке головами. Пусть эта клятва ваша будет, что отреклись вы от красного антихриста, что будете во всем с батькой и воинством его до самой победы!

Князев надел треух и, подойдя к крыльцу, встал у самых ног атамана. Тот, тяжело шевельнув шеей, скосил на него глаза, кивнул, одобряя.

Толпа молчала. Потом вышел тощий жилистый мужик в треухе, в распахнутом вороте видна была обросшая шея.

— Та воны и ничего другого не достойны, — крикнул мужик. — Смерть им, гадам!

И тогда вокруг разразилось:

— Це вин за должок мстит!

— За шо их губить?

— Хай погибают, раз таки обормоты!

— Як батько решит!

И потом все громче:

— Треба батьке сказать!

Хрен осмотрел толпу, теперь вся она тянулась к нему глазами. Он шагнул вперед.

— Хлопьята, — сказал он зычно, — война вокруг! Война. Не воны нас, так мы их, а шоб мы их, треба вырвать с корнем все гадючье семя, шо им пособляет. Благодарен я вам, шо вы мене предложили решать. Так решаю: раз война, так пощады нема. Хай гниют под забором! — и он махнул рукой.

Охрана прикладами затиснула арестованных во двор и через минуту грянул оттуда залп. Дико взвизгнул голос и снова ударил выстрел, теперь уже одиночный.

— Расходись! — командовал Охрим.

Толпа стала расползаться. Фитиль и Клешков смотрели, как Князев, сняв шапку, разговаривает с Хреном. Льстивое лицо старика сияло. Хрен слушал его молча, изредка кивал. Через несколько минут Князев обернулся к ним и поманил к себе.

— Вот, батько, — сказал он подталкивая к нему спутников, — и эти со мной. По великой нужде к тебе, по крайнему делу...



Наступили сухие погожие дни, опять весело и не по-осеннему смотрело с неба солнце. Однако на улицах было угрюмо. Кроме собак и ребятишек, ни прохожих, ни проезжих, люди возлились на огородах, толпами уходили в лес по орехи, и никакие посты и проверки документов не могли их остановить.

Гуляев теперь дневал и ночевал в управлении. Обыск у Нюрки дал многое. Нашли часть продуктов, выкраденных в лавке потребкооперации, в схватке убили одного и взяли другого налетчика, но пока и Нюрка, и бандит на допросах молчали.

Утром Иншаков вызвал к себе Гуляева. В кабинете у него сидел Бубнич. Оба они за последнее время осунулись, щеки Иншакова рыхтели двухдневной щетиной. Сквозь открытые окна доходил в кабинет запах палой листвы и свежего навоза.

— Допросил Гуся? — спросил Бубнич, поворачиваясь от окна навстречу Гуляеву.

— Допросил, — сказал Гуляев, — ничего существенного нет. Говорит, что это они втроем ограбили склад кооперации, что сторож знал Веньку — его товарища, убитого в доме у Власенко. Это и помогло. Сторож приторговывал зажигалками. На этом его и купили, хотя он по ночам был осторожен. Поддался на знакомое лицо. Фитиль ударил его по голове ломиком, они быстро очистили склад и вынесли вещи... Тут-то и начинаются умолчания. Я спрашиваю: перенесли ли вещи сразу к Власенко? Вертит. Не говорит. Я спрашиваю: был ли кто с ними, кроме своих? Говорит: никого не было, но говорит очень неуверенно. Короче, товарищ уполномоченный, думаю, дня через два заговорит. Он в холодной сидит. Там ему не нравится.

— Расколоть надо, понимаешь, какое дело, сегодня, — с непривычной для него задумчивостью сказал Иншаков. Он сидел в своем кресле, поскрипывая кожей костюма, короткопалой рукой оглаживал щеки. Под светлыми ресницами изредка проблескивали линиями голубые глаза. — Дела такие, что сейчас от этой нити черт его знает что зависит...

Он повернулся к Бубничу.

— Военком звонил. Грибники и орешники идут валом. Чуть не до драки с караульными. Сякинские еще немного пугают, но те и сами хороши. Мы с этим, понимаешь, подсобным продуктом можем в город всю банду пропустить.

Бубнич перекатил желваки на скулах.

— Вызывать озлобление людей нельзя. И так положение трудное. Даже рабочие маслозавода ропщут. Губерния на все телеграммы просит продержаться две недели, раньше помощи не будет. О Хрене сведений фактически нет. Тогда как, судя по всему, он о нас знает все, что ему надо. Установлено, что подполье в городе действует. Ориентация его неизвестна. Белые они,

эсеры или анархисты — это еще только предстоит выяснить. Выход один — действовать. А как — это надо обдумать. Вот, товарищ Гуляев, какое положение. Так что ваш Гусь должен заговорить. А что Власенко?

— Была в истерике. Допрашивать не было никакого смысла.

— Сегодня же допросить и выяснить все, что она знает.

— Есть!..

Гуляев попросил привести Гуся и сел за свой стол. В комнате вились тучи пылинок, хороводили в раструбах солнечных лучей. Лозунг «Все в красную кавалерию» провис и потемнел от пыли. Липа за окном шуршала все еще полной багряной кроной. Там, за видневшимися вдалеке домиками окраин, за белыми зданиями и облезлыми колокольнями старого монастыря, накапливалась, подкатывала смерть. Он знал, что посты стерегут движение бандитов, но вокруг была степь, а в промежутках — подлесок, и конные орды по ночам умели просачиваться неслышно. Не брякнув, не стукнув, проходили под самым носом дозорные кони, с обмотанными копытами. Молча сидели всадники с пригнанным, притянутым амуницией и ремнями оружием. Бесшумно вырезали дозорных и на рассвете врвались в улицы, оглушая диким степным улюлюканьем и воем, от которого сворачивалась в жилах кровь, и тогда начиналась рубка и расправа. Однажды на небольшой станции под Елизаветградом Гуляев попал в такую заваруху. Он тогда был бойцом железнодорожного батальона. Если бы не сердобольная женщина, укрывшая его у себя и назвавшая сыном, лежать бы ему где-нибудь в уличном бурьяне в груде дружных, залитых кровью, застреленных и порубленных, со свернутыми шеями, с наискось — лихим казачьим ударом — сорванными ключицами...

Ввели Гуся. Гуляев махнул охране, чтоб ушли, приказал заключенному сесть. Гусь должен был заговорить, и, наверное, он увидел эту решимость в Гуляевских глазах, потому что сразу занервничал.

— Твое настоящее имя! — Гуляев смотрел на него с ненавистью, которую не желал скрывать.

— Семен, — сказал Гусь, отводя глаза. Русые волосы его взлохматились и потемнели за время пребывания в холодной.

— Фамилия?

— Да кликай Гусь, меня все так кличут.

— Мне плевать, как тебя кличут. Я спрашиваю фамилию.

Гусь подвигал плечами, словно ему было холодно.

— Воронов, — сказал он, — я и забыл, когда меня так звали.

— Говорить будешь? — спросил Гуляев. Безошибочно, внутренним чутьем он определил,

что холодная надломила Гуся, и надо было воспользоваться этим.

— А чего говорить? — тянул время Гусь. Маленькие глаза вприщур настороженно и зло следили за следователем. — Вчерась все сказал, что знал.

— Рассказывай, куда сначала перепрятали вещи, взятые на складе кооперации.

— Да я не помню.

— Последний раз спрашиваю: будешь говорить?

— А то — что?

— Охрана! — крикнул Гуляев.

Вошел, брякнув прикладом, молодой милиционер с удивленным выражением лица.

Гуляев узнал Ваську Нарошного, конвоировавшего Клешкова в момент побега.

— Товарищ боец! — сказал он строго.

— Слушаю, товарищ следователь! — вытянулся Васька.

— Взять арестованного и в трибунал.

— Есть, — Васька выставил перед собой штык, шагнул вперед и чуть ткнул штыком Гуся. Тот вскочил.

— Эй! Не измывайся над человеком!

— Иди! — сказал Васька и щелкнул затвором.

Гусь уставился на его серое лицо с запавшими щеками, увидел холодную злобу Васькиных глаз и сдался.

— Ладно, — сказал он, поворачиваясь к Гуляеву широким туловищем и все еще глядя на конвоира, — все расскажу... Только выгони ты этого...

— Товарищ боец, — сказал благодарный до краев души Гуляев, — спасибо за службу. Покиньте помещение.

Васька четко откозырял и вышел.

— Где припрятали товар? — спросил Гуляев.

— Да мы почитай его и не вывозили, — сказал Гусь, — мы его только что перенесли — и всего делов.

— Куда перенесли?

— А через улицу. Там напротив лавка была при старом режиме. Она теперича закрытая. У Фитиля... — Гусь замолк и снова передернул лопатками, — у его ключ был, мы за полчаса весь товар и перенесли. Все там и оставили. А на другой день добыли тачки...

— У кого?

— Фитиль все... Ни я, ни Венька — мы не касались. Привез три тачки. Мы в четыре приема все перевезли к Нюрке... Народ-то этими тачками завсегда пользуется.

— Хлебные склады вы подожгли?

— Тут кто-то без нас обошелся, — усмехнулся Гусь.

— И Фитиль никогда об этом не упоминал?

— Никогда ничего такого. Видишь, тот склад кооператорский мы почему взяли? Там все ве-

щички-то были — их легко было пристроить или загнать. Мануфактура, сахар. Хлеб — он тут при чем? Продавать — враз заметут и к стенке! А поджигать — какая ж нам выгода!

— Где сейчас Фитиль?

— Знать не могу, — Гусь отвел глаза. — Он мне не докладывался.

— Где вы прятали по большей части?

— У Гонтаря в саду. Там у его шалаш, так мы там...

— С кем был связан Фитиль, кто к нему приходил?

— Не знаю. К нам никто не ходил. Он сам лыжи вострил чуть не раза три на дню. У нас никого не бывало.

— Проверим, — сказал Гуляев. — Соврал — не помилуем.

— Чего пугаешь? — сказал Гусь, вставая. — Мне, куда ни верти, — хана. Вы шлепнете, — на то и власть, не вы — Фитиль найдет, скажет: скурвился — подыхай.

— Фитилю до тебя не добраться. Руки коротки, — сказал Гуляев. — Нарошный, увести.

— У Фитиля руки длинные, — пробормотал, уходя, налетчик.

Едва его увели, Гуляев кинулся к Иншакову. Ему нужен был Бубнич, но в кабинете начальника он никого не застал. Тогда он выскочил во двор. Там, у самых ворот, Бубнич разговаривал с комэском Сякиным. Иншаков распоряжался у амбаров, наказывая что-то охране. Гуляев подошел к воротам в то время, когда Сякин заканчивал свою речь.

— Ты, комиссар, попомни, — говорил, по своему обыкновению чуть осклабясь, Сякин, — у тебя в уезде одна сила — эскадрон. Там парнюги и шашкой махать могут, и с винта пулять. Это не пехтура тебе, что прицел от приклада не отличит. Так что выбирай: либо ты эскадрон кормишь, как того положение требует, либо и за ребят не поручусь, даже они у меня горячие.

— Это что угроза, товарищ Сякин? — спросил, снизу вверх глядя на него, Бубнич.

— Понимай, как знаешь, — резко развернул лошадь Сякин. — Я не предатель и верный буду, а за ребят отвечать не могу.

— И это ты говоришь в такую минуту, Сякин, — Бубнич смотрел на него так, что другой бы уже должен был обратиться в пепел. Но Сякин шагом тронул лошадь к воротам и на ходу крикнул:

— И ты пойми! Коли б не такая минута, не говорил бы!

Он выехал за ворота и там, улюлюкнув, послал лошадь в намет. Слышно было, как дробят, удаляясь, копыта.

— Видал, какие дела? — угрюмо повернулся Бубнич к подошедшему Гуляеву.

— Товарищ уполномоченный, — с места в карьер начал Гуляев, — может быть, вы дадите



кого-нибудь в помощь? Мне надо немедленно допросить эту Власенко: Гусь из шайки Фитиля дал показания. Хочу проверить. У них база была в садах. Малина. Необходимо осмотреть, а я просто физически не успею.

Бубнич слушал, но слова словно отскакивали от его бронзового широкоскулого лица.

— Вот что, товарищ, — сказал он, — ты видишь какво положение? Надо все успеть и все — самому.

Он пошел к воротам.

Гуляев посмотрел в его широкую сутуленную спину в порыжелой кожанке и понял, что наступил действительно критический момент для Советской власти в городе. Значит, надо дейст-

вовать — и действовать одному. Он кинулся в свою комнату, на ходу приказав привести к нему Власенко.

Он сидел и записывал суть показаний Гуся, когда ее ввели. Она стояла в потрепанной юбке с грязным подолом, в жакете с продранными локтями, упавший на плечи платок не скрывал черных свалывшихся волос. Красивое белое лицо с очень ярким ртом хранило выражение какой-то отрешенной одичалости.

— Садитесь, — сказал Гуляев.

Она отвернулась от него, стала смотреть в окно.

— Слышите, что говорю! — поднял он голос. — Подойдите к столу и сядьте!

Как во сне, не отрывая глаз от окна, где билась и шуршала тополиная листва, она сделала два шага и села.

— У меня к вам несколько вопросов, — сказал Гуляев, поглядывая на ее руки, лежавшие поверх юбки на коленях. Пальцы были длинные и тонкие с обгрызенными ногтями, с царапинами на белой коже тыльной стороны ладони.

— Если вы ответите на них, мы вас выпустим.

Она словно бы и не слышала этого.

Гуляев разглядывал фотокарточку, взятую в доме Нюрки. Из желтоватой рамки с вензелями, выведенными золотыми буквами, смотрело молодое, зло улыбающееся лицо. Угольно-черные брови казались подведенными. В скулах была хищность и сила. Котелок, косо посаженный на лоб, обличал тщеславие и фатовство. Откуда-то он знал этого человека, где-то видел совсем недавно, но вспомнить — хоть убей — не мог.

— Фитиль? — спросил он, подвинув фотографию Нюрке.

Она взглянула, потом взяла фотографию в руки и засмотрелась на нее. На замученном худом лице вдруг проступило выражение такой страстной нежности, что на секунду Гуляеву стало даже обидно.

— Это Фитиль? — повторил он вопрос.

Она отложила карточку, взглянула на него и кивнула.

— Как зовут Фитиля? — спросил Гуляев, подавшись вперед.

Она медленно отвела взгляд от окна и посмотрела на него тем же диким затравленным взглядом.

— Будете отвечать?

Она опустила глаза и молчала.

— Нюра, — сказал он, вставая, — если не будете отвечать, мы вынуждены будем вас держать в камере...

Она вскинула голову, глаза ее засияли от слез.

— Каты!

Гуляев почувствовал, как тонкий холодок бешенства поднимается в нем. Она сидела здесь и оскорбляла его, следователя Советской власти, а любовник ее, сбежав от расплаты, где-то готовил новые грабежи... С трудом он заставил себя успокоиться. Она — темная женщина, многого не понимает в свистопляске последних событий.

— Нюра, — сказал он, — ведь вы такая же работница, как и другие. Вы хлеб свой потом добывали. Для вас эта власть не чужая. Почему же вы не хотите ей помочь?

Она опять взглянула на него, уже спокойнее, хотя дикий огонек все еще горел в глазах.

— Коли она не чужая, за что арестует? За что парнишечку мово как собаку на помойке бросили? Он зараз один, а в дому, как в погребе, — холодно да голо. Все уволокли.

— А когда вы хранили ворованный сахар, а вокруг женщины с голодухи только что дерево не грызли, вам было не стыдно? — спросил Гуляев. — Они не такие же, как вы? У них не такие же парнишечки, как ваш? Разве этот сахар и остальное из складов кооперации не им предназначалось?

— Начальству назначалось! — перебила Влащенко, зло глядя на него. — Комиссарам всяким...

— Нюра, — сказал он, — поймите меня сейчас... Потом будет поздно. В городе был запас продуктов. Предназначался он прежде всего рабочим, таким, как ты, как твои соседи. А продукты эти выкрали, убив человека. Потом сожгли продсклады с хлебом. Теперь люди голодают... И ты виновата в этом. И такие ребяташки, как твой мальчик, могут умереть с голоду, потому что мы не можем поймать банду из-за молчанья таких, как ты...

— Сыночку мой, родименький! — заплакала, запричитала Нюрка. — И что ж с тобой делают эти злыдни, что робят!

— Сын ваш на попечении соседок, — сказал Гуляев, еле сдерживаясь, — о нем заботится комсомольская ячейка завода.

— Сы-ночку! — плакала Нюрка.

Опять понеслись в глазах Гуляева бешеные кони под визг и дикое улюлюканье всадников. Опять стали падать люди, зарубленные и прошитые пулями.

— Где может скрываться Фитиль? — спросил он, закаменев от злобы. — Будешь говорить? Или...

Нюрка испугалась. Глаза ее закосили.

— Та я ж не знаю. Вин мне не казав, где прячется.

— Кто к нему приходил, кроме членов шайки? — уже спокойно спросил Гуляев. — Быстро!

— Приходил черный такой... Здоровенный, с бородой!

— Фамилия? Ты же знаешь!

— Та никакой фамилии, с чего вы взяли! Не знаю!

— Нюра, — сказал Гуляев, подходя к ней и наклоняясь вплотную. — Дорог тебе Фитиль?

Она прикрыла глаза веками, и на измученном немывтом лице ее проступило опять такое неудержимое выражение страсти и нежности, что ответа уже не потребовалось.

— Так слушай, — торопливо заговорил Гуляев, — я о нем у тебя больше спрашивать не буду! Слышишь? Пусть живет. Черт с ним! Ответь только на один вопрос — ты же в городе всех знаешь: кто такой этот черный, что к нему приходил?

Нюрка открыла глаза и растерянно, с тайной надеждой взглянула на Гуляева.

— А про Рому пытаться не будете?

— Про какого Рому?

— Так он же Фитиль!

— Про него не буду. Кто черный, с бородой?

— Дьякон, — глухо сказала она, уже раскaiваясь и сомневаясь. — Он и приходил. Он же и на дело с ними ходил. А как же. А Рома — он только сполнил.

Приказав ее увести, Гуляев посидел с минутой, обдумывая все, что узнал, и ринулся к Иншакову. Теперь в руках его была нить, и надо было идти по ней, пока не распутается весь клубок.

По улице гарцевали конные, у заборов пересмеивались кучки селянок. Расшибая копытами лужи, пролетел адъютант Хрена в черной папахе и серой венгерке с выпушкой на груди. Из подворотен лаяли собаки, не решаясь вылезти на улицы. Гуси и куры, накрепко запертые по клетям, глухо кричали в своих деревянных тюрьмах. Князев ушел совещаться к Хрену, и его не было уже с полчаса. Мрачный Фитиль ссорился с хозяевами, требуя самогона, но прижимистые украинцы не спешили выполнить его требование — им не был ясен ранг постояльцев. Старший, видно, пользуется уважением, зато двое других не очень похожи на баькиных хлопцев. Клешков вышел и стал под пирамидальным тополем, наблюдая сельскую улицу. Свежий ветерок охлаждал лицо, гнал по улице палые листья. Осень горела в садах, и вся земля была в октябрьской мозаике алой, оранжевой, рыжей, золотой, бурой пожухлой листвы. По ней выплясывали кони и проходили ноги в сапогах, на ней толклись и кружились чоботы молодок.

У штаба копился народ. Из ворот выезжали конные, толпа пеших повстанцев и местных переминалась под окнами. Мимо Клешкова проехал всадник и осадил лошадь.

— Эй, — окликнул он Саньку. — Здорово, чего пялишься?

Санька узнал Семку, адъютанта Хрена.

— А мне не запрещали! — сказал он с вызовом.

Семка наехал на него лошадьё и остановился.

— Твой старый хрыч с баькой нашим грызется.

— Он такой! — сказал на всякий случай Клешков.

Вышел и встал в калитке Фитиль. Он безмерно скучал в этих местах, где ему не к чему было приложить свои таланты.

— Фраер, — позвал он Семку, — у вас в железку играют?

Семка, не привыкший к небрежному обращению, молча смотрел с седла на Саньку и поигрывал нагайкой.

— И откуда такая публика у нас взялась? — раздумывал он вслух. — Может, срубить вас к бису, и дело в шляпе!

Фитиль подошел и тронул его за колено.

— Есть у вас, кто по фене ботал?

Семка вперился в него, побагровел и вскинул нагайку, но Фитиль дернул за повод коня, и тот сделал свечку. Разгневанный адъютант еле усидел в седле.

— Пацан, — сказал, усмехаясь, Фитиль, — ты со мной не вяжись. Меня и на каторге стереглись.

Семка внезапно схватился за пистолет. У Фитиля наган был уже в руках.

— Оставь дуру, шкет!

Тогда Семка засмеялся..

— Силен!

Он слез с коня и, ведя его за повод, подошел к Фитилю.

— На каторге был?

— И еще кое-где, — процедил Фитиль и циркнул ему под ноги. — Я у тебя спрашиваю: фартовые парняги у вас есть?

— Попадаются, — сообщил Семка, — могу познакомиться.

Они двинулись к штабу, за ними побрел Санька.

Толпа у штаба разбрелась.

— Тут погодите, — сказал Семка, кивнув на скамью под окнами. — Я скорехонько.

Фитиль подобрал какую-то палку, вынул нож, уселся строгать. Клешков, сидя рядом, прислушивался к шуму за окном. Рама была приотворена, и низкий хриплый голос какого-то штабного перехлестывался с Князевским тенорком.

— Вы уж меня извините, — паточно тек голос Аристарха, — только что же вам в городе-то потом делать? Анархия там и сама не прокормится, и народ не прокормит. Меня начальники мои вот об чем просили: ты, мол, Аристархушко, объясни умным людям, что нам с ними надоть союз держать. Пусть они нам город помогут взять, а потом мы им поможем, ежели что, в деревне. Отсюда вместе и начнем.

— Я же говорил, — пробубнил штабной, — взять город можно, только если ваши там переберут красных пулеметчиков.

— Нет, — хрипло сказал командный голос, и Клешков узнал Хрена, — давай сначала раскумекаем наши программы. Ваш союз-то белый выходит?

— И чего это мы все по цветам раскидываем? — опять умильно запел Князев. — Это ж не в красильне. Наш союз за порядок, за крепкое правление..

— За Врангеля? — спросил еще один голос.

— Да-к, что ж Врангель. Врангель — нам он неведом. Мы за всенародное правление, за вече... Чтоб к нему люди всех классов и состояний были допущены..

— Я, баько, считаю такой контакт с белыми изменой революции, — сказал глухой гундосый голос. — Город мы и без того возьмем, большевиков и без того придавим, но с белыми я бы

контактировать не стал. Мы анархисты-революционеры, мы за безвластие, а наш новый союзник — слышали? — за твердый порядок, за генералов да буржуазию.

— Ты, Гольцов, не бухти, — сказал чей-то напряженный и злой голос, — ты программу свою пока в карман положи. Как город брать с одной конницей против пулеметов?..

В это время к сидящим подошел Семен с тремя повстанцами, одетыми ярко и лихо: в мерлушковые папахи, в офицерские бекешки, в синие диагональные галифе и хромовые сапоги.

— Ось, знакомьтесь, — сказал Семка, — це тоже каторжные. И, видать, по схожим делам.

— Фармазонил? — спросил один из подошедших, присаживаясь рядом с Фитилем.

Фитиль, впришур наблюдая за троими, коротко и наотрез мотнул головой.

— Домушничал? — спросил второй.

И снова Фитиль отмахнулся.

— Медвежатник?

— Дело на Голохвастовской в Киеве слышали? — спросил Фитиль и веско осмотрел всех троих.

— Три миллиона! — с восторгом сказал один, приседая перед лавкой на корточки. — Да постой, там же Федька Сука трудился.

— Сука на каторге в ящик сыграл, — сказал Фитиль, — да он там шестеркой был.

— Кто же атаманил? — теперь все трое склонились к Фитилю, стараясь всосать в себя все, что услышат.

— Каторжники собрались, — с усмешкой шепнул Семка Клешкову, — почувяли своего.

— Вершил я, — сказал Фитиль. — Три лимона, разные камешки на триста косых.

— Голова, — с уважением сказал, поднимая голову, тот, что сидел на корточках.

— Эх, нам бы теперь обстричь дельце, — сказал второй.

— Вас батько на новую жизнь зовет, — встрял в разговор Семка, — а вы все на старой дорожке топчетесь.

— Есть где потолковать? — спросил Фитиль.

Все четверо поднялись и дружно пошли куда-то в конец улицы.

— Рыбак рыбака видит издалека, — сказал Семка. — А тебя чего он не взял?

— Я не с ним, я с Князевым, — пробурчал Клешков. Он еще не разобрался в обстановке. А пора было на что-то решаться.

— За белых значит? — спросил Семка, свертывая самокрутку. — Эх ты, пескарь, за контру стоишь!

— За красных быть, что ли? — спросил Клешков.

— А хоть за красных, раз идею анархии не понимаешь! — плюнул Семка. — Красные как никак за революцию!

— За революцию? — в полной растерянности

пробормотал Клешков. — Так они ж против ваших... — И тут в голову закралось подозрение: проверяют!

— Они, конечно, кровопийцы, — сказал Семка, поигрывая ногой в офицерских кавалерийских бриджах, — и комиссары у них — гады. Но все-таки... И царя они шлепнули. Да не пужайся, — хлопнул он по колену Клешкова, и самодовольно-веселое лицо его с усиками под верхней губой засветилось смехом, — я этих большевиков в гроб уже с десятком поклад, — он погладил кобуру. — Но был тут один ихний малый. Я тебе скажу, мало таких. Шурум-бурум такой устроил, что до сих пор вспоминают. Из-под носа ушел. Я его в роще за селом нагнал, а он, безрогая скотина его мать, осилил меня. Пистоль отнял. Мог шлепнуть, не сходя с места, а он, ядрена корень, не стал. Оставил жить. Так что я теперь перед красными в долгу. — Семка удивился всем своим горбоносим лицом и закачал головой. — И что ему стоило? Нажал курок, и нету Семки. А — не стал.

Раскрылось окно, выглянуло оплывшее лицо в красной феске.

— Сема, — спросил своим хриплым дискантом Хрен, — охрану для жинки обеспечил?

— Обеспечил, батько, — сказал адъютант. — Махальные известят, как появится.

— Гляди! — погрозил атаман и исчез в окне. Из комнаты опять донеслись раздраженные голоса.

— Кого это ждуть? — спросил Клешков.

— Христю, жену батьки, — лениво ответил Семен. — Подлая баба, скажу тебе, братишка, спасу от нее нет.

— А чего для нее охрану нужно? Для почету, что ли?

— Для почету — это одно, а второе — колушаевские тут... Настырные ребята.

Клешкову очень хотелось знать о колушаевских, но он не стал спрашивать, потому что за окном говорил чей-то голос, говорил увесисто и четко.

— Хай тому глотку заткнут, кто идет против объединения. И начихать, кто протягивает руку, лишь бы супротив комиссаров, — Клешков узнал голос одноглазого Охрима, выступавшего на митинге. — Возьмем город, тогда поделимся и поспорим, а нонче надо договориться и действовать. Нехай они возьмут на себе пулеметы, а мы ударим с фронта. Ось тогда запляшут комиссарики. А я за то, чтоб сговориться, батько.

Наступило молчание. Потом Хрен сказал:

— Оно верно. Мозгуй над планом. Охрим и ты, Кикоть. Треба красных вырезать. Тогда поговорим.

Показался всадник. Он несся с такой скоростью, что собаки брызгами разлетались из-под копыт.

Семка вскочил и бросился во двор. Протрубили сбор. Из ворот стали выезжать всадники.

В конце улицы под багряными сводами пирамидальных тополей появился окруженный всадниками фазтон. Из двора, сопровождаемый штабом, выехал Хрен и погнал коня навстречу фазтону.

— А ты что же? — спросил Кleshков Семку.

— Надоело, — сказал Семка, — я воевать пришел, а мне поручено над Христей мух отгонять. Нехай батько сам отдувается.

— А что за колупаевские? — спросил Кleshков.

— Да тут малый один был в Колупаевке. Эта Христя с ним хороводилась. А потом, как батько на нее клюнул, она своего Митьку и бросила. Он и мстит. Батько посылал туда Охрима, тот усю Колупаевку в сплошную головешку превратил. И зря. Мужики за это на батьку взъелись, а тот Митька Сотников теперь вокруг партизанит. Хуже любого красного. Беда. Христю без охраны даже в сортир не пускают.

Две конные группы встретились под тополями. Теперь они все возвращались. Во двор вышли двое. Один рослый, окованный ремнями, могучий, с насупленным под черной папахой горбоносый жестким лицом, другой — одноглазый Охрим. Шапки обоих побрякивали, стучаясь о колени. Лица были угрюмы.

— Либо свадьбы праздновать, либо воевать, — сказал первый, глядя на подъезжающих.

Охрим помедлил, потом согласился.

— Дюже много теряем времечка на эти спектакли.

Семка, кивнув на могучего в ремнях, шепнул:

— Кикоть! Голова! В драгунах служил. Вся грудь в крестах...

Под вечер в штабной избе снова совещались. Кleshков старался теперь не отстать от Семена. И всякий раз ввязывался с ним в разговор. Постепенно уяснял он структуру банды, ее сильные и слабые стороны. Сотня, которой командовал Кикоть, была, видимо, из кадровых кавалеристов. Сильная сотня. Остальное — «сброд» — по выражению Семки...

Они сидели на ступенях крыльца, когда во двор вошли четверо. Среди малахаев и папах видна была кепка Фитиля. Семка встал. Фитиль прошел к самому крыльцу, на дороге стоял Семка.

— Чего шнифтами ворочаешь? — спросил Фитиль. — А ну, отзынь!

— Батько тут, раду держит. Вали обратно! — толкнул Фитиля в грудь Семка.

— Я сам себе батько! — сказал Фитиль и, вскочив на крыльцо, притянул к себе за грудки Семку. — А перышка не хочешь? — У самого бока Семки поблескивал нож.

Кleshков бросился на помощь батькиному адъютанту.

— Фитиль, — сказал он, хватая его за руку. — Тут сам батько и Аристарх, и все!.. А ты замахваешься.

— Ладно! — отшвырнул от себя Семку Фитиль. — Гляди, потолкаешься мне еще.

Он отошел. Ошеломленный Семка все еще моргал глазами. Фитиль о чем-то поговорил с хозяйкой, махнул рукой остальным, и скоро они уже сидели на чурбаках и звонко шлепали картами по спилу дерева.

Семка вдруг выхватил из кобуры маузер и направился к играющим. Кleshков насилу оставил его.

— Сем! — уговаривал он. — Да брось ты! Это ж бандит! Налетчик.

— Я сам бандит! — клокотал Семка. Его вислый нос выдался вперед, глаза были выпучены.

Фитиль оглянулся и что-то сказал остальным, они грохнули смехом. Семка рванулся, Кleshков удержал его руку с маузером.

— Не надо, Сем!

— Лады! — внезапно успокаиваясь, сказал Семка. — Он у меня по-другому верещать будет! — он отошел и сел на крыльцо, разглядывая свою руку, губы его были стиснуты, глаза со странной азиатчинкой разошлись куда-то к вискам.

В сенях грохнула дверь, стали выходить во двор совещавшиеся. Хрен остановился на крыльце и посмотрел на Князева.

— Говоришь — церковным старостой будешь? Силен! — он повернулся к остальным. — Ловки у бога слуги, а? Далеко пойдешь, людына! — он похлопал Князева по плечу, но в глазах его не было и следа веселья. — Коня! — потребовал Хрен. И через секунду, взгромоздившись на скакуна, объявил. — Шо решили, то решили. Ты, попова швабра, посылаешь своих людей, а от меня идет Семен. Шо треба им знаты, разъясни! — он ударил коня плетью и умчался в сопровождении коновода.

— Кто пойдет? — спросил одноглазый.

Князев, кисло улыбаясь, погладил голое, как слоновая кость, темя и показал на Фитиля, азартно выкидывающего очередную карту.

— Пошлем-ка, братцы-товарищи, вон того, он и в игольное ушко пролезет.

Охрим направился к картежникам.

— Эй, — сказал он, трогая ручкой нагайки плечо Фитиля, — бросай игру, треба побалакать.

Фитиль, взглянув на него, вырвал у него нагайку и отшвырнул ее за плетень.

— Снимаю! — он опять повернулся к игрокам.

— Роман! — издали крикнул Князев. — Ты что, а? Тебя сюда не для карт брали!

Фитиль оглянулся и сощурил глаза.

— Ты, старая параша, — сказал он сипло, — ты там свои заговоры устраивай, а меня не тревожь, понял, нет?

Кикоть, до того молча оглядывавший двор,

вдруг твердым военным шагом двинулся к картежникам, взял за плечо Фитиля.

— Встань!

Фитиль встал, резко обернулся и в руке его тускло блеснул нож. Он держал его у самого бедра, во всей его длинной хищной фигуре была какая-то змеяная сторожкая готовность.

— Что? — шепотом спросил он.

— Приказ слышал? — пробасил, затея веками глаза, Кикоть.

— Я чужих приказов не слушаю!

В тот же миг плеть Кикотя взметнулась в воздух, и одновременно блеснувший в руке Фитиля нож упал на землю.

— Это в подарок! — Кикоть снова дернул ручку, и Фитиль схватился за щеку.

— Семен! — гаркнул Кикоть. — Взять! В холодную! А этих, — он указал нагайкой на троих застывших партнеров Фитиля, — по сотням и под надзор!

Семка, подталкивая пистолетом в спину, увел поскрипывающего зубами Фитиля, а трое его сподвижников ушли сами, не выражая никакого протеста, но с особой зоркостью приглядываясь к тем, кто был во дворе.

— Шпанка! — сказал Князев. — Связались мы с разбойником этим!

— Анархия не знает запретов! — сказал Гольцев. — Внезапным митинговым жестом выкидывая вперед руку. — Мы всех берем, кому по пути с нами. Старый мир калечил человека, а мы нравственно обновляем его.

— Под пулю не лезут, а як грабить — впереди, — сказал Охрим. — Кого же пошлем до городу?

Князев оглянулся на Клешкова.

— Есть такой человек, — торопливо сказал он, — есть, есть. Надежа-парень, голова! Иди-ка сюда, Саня. Вот и дело тебе придумали. Друга своего повидашь, наставника Василь Петровича.

— Он? — спросил Охрим, единственным взглядом сверля Саньку.

— Он да ваш, они и справятся. Народ молодой, ловкий!

— Ладно, — сказал Охрим, — по мне все одно, он так он. Иди, хлопец, готовься. Ночью перебросим.

За час приготовления были закончены. Семка должен был сопровождать Клешкова и в городе, третий оставался их ждать вместе с конями. Вернуться надо было как можно скорее, но обязательно с ответом от князевских друзей.

Семка и Клешков сидели на крыльце. В хате ссорились хозяева. Сумерки были черны и плотны, а ночь обещала быть лунной. Пока луна еще была затенена облаками и внезапный ее свет то начинал свое брожение по двору, то исчезал. Семка насвистывал какой-то знакомый мотив, а

Клешков, у которого от напряжения дрожала каждая жилка, чистил наган. Он с усилием протирал промасленной тряпкой барабан. Руки его были перемазаны ружейным маслом.

— Побачу красных, — сказал Семка, — лавно я с ими не здоровкался.

Вдруг в конце села лопнула огненная вспышка и сразу взвились и раскатились выстрелы, топот и сплошной дикий несмолкаемый крик.

Клешков упал во тьму, ушиб локти, ужалился о какую-то жухлую крапиву, стал набивать барабан нагана патронами и пытался понять, что происходит. У поскотины рвались бомбы, со всех сторон вспыхивали и гасли огни выстрелов. По улице в темноте, ревя и стреляя, неслась конная толпа. Крыша штаба пылала, раскидывая вокруг пучки соломы, раздуваемой ветром.

В свете пламени видно было, как мечутся перед штабом люди, как взвиваются со ржаньем на дыбы кони, как снова и снова какие-то всадники швыряют на крыши хат горящие факелы.

Мимо с криком пронеслось несколько человек. Кто-то заматерился за плетнем и выстрелил. В ответ с громом ударило несколько обрезов. Человек за плетнем крикнул и затих. На дороге билась и кричала раненая лошадь, а около нее бешено ругался какой-то человек.

— Митька, — услышал Клешков Семкин голос, — попался, сука!

Тотчас же снова ответил грохот обреза.

— Митька! — орал где-то поблизости невидимый в темноте Семка. — Кончай свою петрушку! Сдавайся! Я тебя на мушке держу!

Опять грохнуло и злобно-пронзительный голос крикнул:

— Семка-холуй! Передай своему Хрену, доберусь я до него.

Опять ударил обреза и вслед за тем револьверные выстрелы. Пронесся всадник, окликнул кого-то и спешил. Они были близко. В дальнем отсвете горящего дома видно было, как один прыгнул с лошади, другой вскочил на нее. Опять торопливо зачистили револьверные выстрелы. Пеший вдруг упал, а конный с места рванулся в карьер и исчез во тьме.

Оглушенный, не сумев разобрататься в том, что происходит, Клешков непрерывно думал лишь об одном: кто это мог быть? Если красные, то как вести ему себя в этой схватке? Если не красные — то кто же?

Стрельба стала стихать, больше не слышно было лошадиного топота. У пылавшей вдалеке хаты столпился народ, откуда-то катили бочку, видна была высокая фигура в папахе, возвышавшаяся над толпой. Кикоть — узнал Клешков.

Впереди на дороге копошились тени. Неслышно встав, он пошел к ним, держа наготове наган. По голосу один был Семка.

— Вставай, сволота! — бормотал он, сиюсь кого-то поставить на ноги. — Хуже будет!





— Не стражай! — отвечал ему натужный бас. — Не стражай, бандюга! Скоро всем вам каюк!

Семка чем-то ударил человека, тот простонал и свалился на землю.

— Сем! — окликнул Клешков адъютанта. — Чего это ты?

— Колупаевские, — пробормотал, отдуваясь, Семен. — Врасплох хотели, гады!

— Так это они были? — разочарованно спросил Клешков. — Я думал, красные!

— Красные! — сказал Семен и сплюнул. — Те раньше с голоду подохнут, чем сюда вылезут! Колупаевские, сволота!

— А этот кто? — спросил Клешков, наклоняясь.

— Митькин дружок! — Семка ударил ногой в тупо ответившее на удар тело. — Ладно, и до самого доберемся.

— Упрямый этот Митька, — сказал Клешков, — против самого батьки лезет!

— Настырный! — ответил адъютант. — Пошли к штабу.

Но к ним уже спешил кто-то еле видный в свете пожара.

— Нашел! — пропыхтел запыхавшийся Князев. — А я, голуби, уж боялся, не пристукнули ли вас.

— Тебя вот как не пристукнули? — процедил сквозь зубы Семка.

— Вот, ребятушки мои, вам мешок, возьмите с собой, — приказал Князев. — В нем — хлеб.

Ежели застукают, один выход — спекулянтами прикинуться. Теперь пора, я вас провожу за посты, договорю, чего не досказал, а тебе, Сема, к батьке надо. Дюже ждет тебя батько...

Перед расставаньем Князев настойчиво зашептал в ухо Клешкову:

— Запомни — три стука, потом: «От Герасима вам привет и пожеланье здоровья». Ответ: «Спаси Христос, давно весточки ждем». И чтоб этот обормот, — он чуть заметно кивнул в сторону Семки, — не слышал. Учти!

Впереди рассыпчато зацокали копыта, закричали. Князев и Клешков подняли головы, прямо к ним скакал всадник, они узнали Охрима.

— Вот ты где, старая калоша! Иди до батьки! Убежал твой брандахлыст, шо в карты разался.

Было хмурое утро с резким холодным ветром. Гуляев поднялся на крыльцо исполкома, вошел в обшарпанный коридор и первым, кого он увидел, был Яковлев. В стройном бритом военном, открывавшем дверь какого-то кабинета, его трудно было узнать — недавнего интеллигента с чеховской бородкой.

— О! — сказал, оглядываясь на шум его шагов, Яковлев. — Вот так встреча!

— Не пойму, что же было маскарадом, — шутиливо, но с тайным смыслом сказал Гуляев, пожимая руку, — и в той и в другой одежде вы равно естественны!

— Потому что — естественна ситуация, — сказал Яковлев. — Вы не зайдете?

Они вошли в длинную пустую комнату с одиноким столом и ящиком телефона, привешенного к стене.

— Вот моя обитель, — Яковлев обвел рукой четыре стены и засмеялся, — военрук гарнизона Яковлев готов принять товарища Гуляева.

Гуляев тоже сделал вид, что ему весело. На самом деле было не до улыбок, дела запутались, и самочувствие его напоминало состояние того единственного жителя Помпей, который предвидел извержение Везувия. Стараясь никому не показывать своих опасений, Гуляев еще несколько минут поболтал с Яковлевым и помчался по исполкому, ища Бубнича. Ему сказали, что Бубнич в управлении.

На улицах не было ни души. Лишь одинокие собаки, поджав хвосты, глухо взлаивали из подворотен. Ставни в большинстве домов были закрыты. Гуляев с молчаливой злобой смотрел на эти домики за палисадниками, на заборы с накрепко закрытыми калитками и подпертыми воротами. Городок словно демонстрировал свое упорное нежелание вмешиваться в ту смертельную борьбу, что шла у самых его окраин.

«Мещане! — злобно думал Гуляев. — Мещане и трусы! А мы боремся и умираем за них!»

У завалинок жухло курчавилась последняя блеклая трава. Взметаемые ветром, перекатывались листья. Над заборами свисали полуголые ветви, удерживая в своих сетях уже редкие осколки желтых или багряных листьев. На мостовой зияли выбоины, и выщербленный булыжник валялся в кюветах, отсверкивая своими гладкими боками под неярким солнцем.

В управлении шло совещание, когда Гуляев вошел в кабинет Иншакова.

— Вот что, товарищи, — говорил Бубнич. — Информую. Одна наша карта бита. По всему видно, что наши товарищи, посланные к Хрену, провалились. Судя по всему, Хрен знает все о нас, мы о нем ничего. Самое важное сейчас — это открыть контру внутри, в городе. Пока нам это не удастся. Тройка приняла решение не производить в городе арестов и обысков. Надо подготовиться к обороне и только. Собрать силы. Все коммунисты уже на казарменном положении. На маслозаводе пятьдесят человек получили оружие и будут пока оставаться в цехах. У нас шесть пулеметов, караульная рота, эскадрон Сякина. Эскадронцы народ ненадежный, но сказать, как точно они себя будут вести, трудно. Нападение на город произойдет вот-вот. У монастыря наши обстреляли разезд бандитов. Раненый их сообщил, что со дня на день Хрен пойдет на город. Больше выяснить не успели. Но и так все ясно. Я сейчас организую все силы наших работников на проникновение в анархистское подполье. Думаю, что оно именно этой ориентации. Милиция в последнее время опережала нас и шла по следу, теперь след прервался. Надо его отыскать, Гуляев. — Бубнич жестко взглянул на Гуляева и опустил глаза. — Не знаю, как это сделать, знаю одно: дьякон нам нужен и нужен в ближайшие часы. Но... — он помолчал, потом повернулся к Иншакову, — арестовывать по подозрению и раздражать население — нельзя! Сейчас судьба Советской власти в городе зависит от того, насколько у нас будет крепок тыл. Надо не дать обывателю поддержать Хрена. Судя по настроениям, его бояться... Это нам на руку. Поэтому не будем обострять ситуацию. С другой стороны, — он встал, — если это необходимо для выяснения дел, связанных с дьяконом и всей этой бражкой, ни перед чем не останавливаться.

Он надел фуражку и вышел. Иншаков встал. — Слыхал? — спросил он Гуляева. — Хоть из-под земли, но добудь дьякона. Это тебе приказ. Не найдешь, попеняешь!..

Гуляев вошел в пролом забора и зашагал между плодовых деревьев. Уже давно война проложила через городок свои пути.

Когда-то городок утопал в садах. Большинство его жителей — от именитых купцов до мелких ремесленников — были искусными садоводами.

потом началась гражданская война, вихрем раз-  
мело по всему свету многие семьи. Сады, забро-  
шенные владельцами, заросли, запустели. Жесто-  
кая зима девятнадцатого года уничтожила много  
молодых деревьев, их почернелые стволы и сей-  
час еще стояли посреди осеннего многоцветья  
живых. Многие изгороди, когда-то разделявшие  
сады, были сломаны и растасканы на дрова...  
Кварталы, очерченные четырьмя улицами, пре-  
вратились в квадраты сплошного сада, даже  
одичалые суховские собаки примирились с веч-  
ным мельканием незнакомых фигур на дорожках  
когда-то столь зорко охраняемых ими хозяйских  
владений. Гуляев шел по натоптанным тропин-  
кам. Шуршала под ногами листва, пахло сладко-  
ватой гниlostью палых фруктов. Кое-где видне-  
лись уже совсем облетевшие груши и вишневые  
деревца. Сквозь их ветви проглядывало ясное  
осеннее в далеких облачных пуховиках небо...

Гуляев подошел к сторожке. Это был покри-  
вившийся домик, где когда-то жил садовник.  
Дверь в домике, недавно упавшая, была теперь  
накрепко приторочена к петлям. Вместо стекол  
белела фанера. Полуэктов взялся за дело, подум-  
ав Гуляев, вспомнив огромную разбухшую фи-  
гуру хозяина. Он подошел к остаткам ограды  
и остановился. На дворе было хорошо — про-  
хладно и ветренно, — не хотелось входить в дом.  
У Полуэктовых всегда топили до духоты, и Гу-  
ляев частенько спал, несмотря на ночные осенние  
холода, с открытым окном. Сейчас он стоял у  
осевших кольев забора, смотрел в небо, отдыхал.  
Вдруг какой-то скрип насторожил его. По при-  
ставленной к дому лестнице карабкался Полу-  
эктов. Он был в сапогах, над которыми свисали  
черные штаны, в белой рубашке и жилете.  
Крепко хватаясь за перекладины, хозяин тяжело  
и осторожно ставил ноги. Лестница скрипела под  
семью пудами его веса.

Гуляев смотрел с любопытством. Что это  
задумал хозяин? Откуда вдруг такая активность:  
подновленная дверь, посещение чердака? Обыч-  
но Полуэктов сидел в столовой и тянул чай. Так  
бывало утром, днем и вечером. Даже ночью  
Гуляев нередко сквозь дрему слышал тяжкий  
хруст пола на кухне, а потом в столовой.

Через несколько минут голова Полуэктова в  
картузе показалась в чердачной двери, он оки-  
нул сад взглядом и неожиданно увидел Гуляе-  
ва. С минуту они не отрывали глаз друг от  
друга.

— Смотрю, Онуфрий Никитыч, ожили вы, —  
сказал Гуляев, — делом занялись.

Купец протиснул в дверцу свое тело, повер-  
нулся задом к Гуляеву, медленно спустился.

Гуляев подошел. Полуэктов, далеко запрятав  
медвежьи узкие глаза, поздоровался, затоптался  
на месте.

— Вот, — сказал он густо, — теперича решил-  
ся... Подновить...

— А-а, — сказал Гуляев, — это дело хорошее...  
Скажите, Онуфрий Никитыч, — вдруг вспомнил  
он, — вы в свою лавку, что напротив нынешней  
кооперации, кого-нибудь пускали?

У Полуэктова глаза полезли на лоб.

— Какая лавка, кого пускал? Избави, гос-  
поди, от напастей!

— Да вот лавка у вас была. Напротив скла-  
да кооператоров...

— Так то... склад, он опять же моей лавкой  
был. Так я что... Я не в претензиях... Новая  
власть, новые порядки.

— Ключи от этой лавки у вас?

Полуэктов уставился в землю.

— Какие ключи? — пробормотал он. — Кон-  
фисковали у меня лавки-то эти. Какие ключи  
тут?

— Значит, нет ключей?

— Нету-нету, — сказал Полуэктов и, повер-  
нувшись, резвой рысцой потопал к дверям дома.  
Гуляев, усмехнувшись про себя, пошел за ним.  
Когда он поднялся на крыльцо, уже на веранде  
навстречу ему выскочил встрепанный хозяин с  
каким-то ларцем в руках.

— Вот-кась, — сунул он в руки Гуляева ла-  
рец, — посмотрите, товарищ постоялец. Какие-та-  
кие ключи? Нету!

Ларец был набит самыми разнообразными  
ключами, но разве можно было тут разобрать,  
есть ли среди них ключ от лавки, где налетчики  
Фитиля хранили награбленное добро.

— Вы напрасно волнуетесь, — сказал Гуляев,  
отстраняя ларец, — я ведь просто по случаю по-  
интересовался.

— По случаю... — пробормотал купец, — так  
и загребете — по случаю...

Гуляев поднялся к себе. Странно, думал он,  
притащил мне целый сундук с ключами... Видно,  
служащий милиции для бывшего купца правда  
страшное чудовище. От одного вопроса пришел  
в неистовство.

В комнате было тепло, пахло деревом. Он  
сел на сундук и посмотрел на картину. В тусклом  
свете убывающего дня она все бежала, та жен-  
щина. Все бежала к чему-то навстречу.

Снизу доносился шум шагов, весь дом словно  
шатался, глухо гудел. Гуляев прислушался. Слы-  
шался грузный топот. Гуляев попытался устано-  
вить — откуда он исходит. Оказалось — из гости-  
ной. Как заведенный, хозяин топал почти на од-  
ном месте. Вокруг стола он бегал, что ли? Стран-  
но... И вдруг Гуляев понял: паника! Полуэктов  
был охвачен паникой, и причиной тому был во-  
прос о ключах.

ОКОНЧАНИЕ СЛЕДУЕТ

# СПЕШУ

**ВИКТОР  
КОЛУПАЕВ**

*Рисунки  
В. Меринова*



# НА СВИДАНИЕ

Я стоял в магазине электротоваров и мучительно раздумывал, что же мне купить: ИВП или ИХП? ИВП — это портативный изменитель внешности, а ИХП — портативный изменитель характера. Изменитель характера стоил гораздо дороже, но не в деньгах было дело. Я считал, что характер у меня вполне сносный, а вот внешность... Хотя... Ведь считала же она меня когда-то самым красивым парнем! А потом, наверное, привыкла. Или поняла, что это ей только казалось.

Словом, я купил ИВП, который размером был чуть больше пачки сигарет, положил его в карман пиджака и вышел из магазина. Кажется, я еще и сам не очень-то понимал, зачем он мне нужен. Не дома же пользоваться им? Нет. Просто во мне назревал какой-то внутренний протест, взрыв. Я еще не знал, что сделаю, но уже исподволь готовил себя к этому.

На улице шел снег, пушистый и легкий. Снежинки, словно нехотя, медленно падали вниз. Я нажал кнопку портативного изменителя внешности и пожалел, что рядом нет зеркала. Мимо прошел Кондратьев из нашего отдела. Он был уже немного навеселе, хотя после окончания работы прошло всего сорок минут. В таком состоянии он обычно привязывался ко всем своим знакомым, предлагая составить ему компанию. Кондратьев прошел мимо, не узнав меня: видимо, внешность моя подверглась значительному изменению. Никаких неприятных ощущений, как и говорилось в паспорте ИВП, я не испытывал.

Подождал троллейбус, и я сел на свободное сиденье. Голова тупо болела от всевозможных совещаний и планерок в нашем СКБ. А придешь домой, что тебя там ждет?

Сходить в магазин за картошкой, подмести пол, просмотреть газеты и журналы, наконец, засесть за телевизор... Жена будет варить ужин. Потом и она на минутку присядет, спросит, что там в газетах пишут, а сама даже не выслушает ответ. Да я уже давно и не отвечал на такие вопросы.

И вот тут-то мне и захотелось сделать что-нибудь не так. Пригласить, например, женщину, сидящую рядом со мной, в кино. Или в ресторан. Влюбиться в нее, стоять по вечерам под ее

окнами, ждать встреч. Жене ведь все равно. Лишь бы деньги домой приносил. Она не расстроится, если даже и узнает... А что?! Сделаю!

Я понимал, конечно, что никто со мной ни в кино, ни, тем более, в ресторан не пойдет. В лучшем случае воспримут как шутку, а в худшем — начнут звать милиционера. И все-таки... Резко повернувшись к женщине, сидевшей рядом, я сказал:

— Послушайте! Хотите, я приглашу вас в ресторан? Ей-богу, ничего плохого в этом нет!

Женщина удивленно посмотрела на меня, и я узнал свою собственную жену. Это было так неожиданно, что я на несколько секунд онемел. Но отступить было поздно. И потом... Ведь изменитель внешности сделал меня неузнаваемым! Вот разве голос?!..

— Или, может быть, вас дома муж ждет? — спросил я немного язвительно. Ну, сейчас-то она меня узнает!

— Нет, — спокойно сказала она. — Никто меня не ждет. Моему мужу все равно, когда я придю.

— Тогда я приглашаю вас в ресторан!

«Вот хохма-то будет!» — озорно подумал я.

— Сразу в ресторан? — рассмеялась моя жена. — Нет. В кино было бы еще можно.

— Ну, тогда пойдете в кино! Только вы не подумайте, что я донжуан какой-нибудь. Просто домой идти не хочется.

— Я понимаю, — сказала моя жена. — Мне тоже не хочется. Придешь, дома тишина, тосливо...

— Так не ходите!

— Нет, нельзя. А кто ужин приготовит? Ведь кроме мужа у меня есть еще дочь. В первый класс уже ходит.

— И у меня есть дочь, — шумно обрадовался я, входя в роль. — И тоже в первый класс ходит! А как зовут вашу?

— Леночка!

— Вот совпадение! И у меня тоже Леночка!

— Извините, — сказала моя жена. — Мне выходить на следующей остановке. До свиданья.

— Я провожу вас! — закричал я на весь троллейбус.

— Не нужно. Еще увидит кто-нибудь и передаст вашей жене.

— Но с вами так легко разговаривать... и интересно...

Моя жена как-то странно улыбнулась, но в это время троллейбус остановился, и она вышла. Я бросился за нею.

— Подождите!— крикнул.— Я пойду с вами! Тем более, что нам по пути.

— Вы говорите это нарочно,— сказала она, замедля шаг.

— Нет, нет... Скажите хоть, как ваше имя?

— Вероника.

— А меня зовут Алексеем.

Она высокая и стройная,— как я этого раньше не замечал?! В легкой шубке и черных сапожках, с пушистым шарфом на голове... Ей отчего-то вдруг стало весело, лишь раз или два она задумалась на мгновение— и сразу же на переносице появились морщинки. Она тащила в руке хозяйственную сумку, которую я чуть ли не силой отнял. И делал это искренне, поражаясь собственной галантности. Так мы дошли до табачного магазина. Вероника остановилась и сказала:

— Все. Дальше меня провожать не нужно. Следующий дом— мой. До свиданья, Алексей.

— Вероника, неужели я вас больше не увижу? Ну, назначьте мне свидание! Я буду ждать вас завтра возле кинотеатра в шесть часов вечера.

— Нет, Алексей. Ничего из этого не выйдет.

— А я все равно вас буду ждать! До свиданья!

Я отдал Веронике сумку, и она быстро ушла. А я зашел в табачный магазин, купил сигарет и только после этого двинулся домой. Возле дома я еще немного постоял, потом вошел в подъезд, предварительно выключив свой изменитель внешности.

В квартире явно помолодевшая в моих глазах жена встретила меня однако стереотипной фразой:

— Пришел?

— Пришел, Вероника... Поесть ничего нету?

— Нету ничего. Ходишь бог знает где да еще обеда спрашиваешь.

— Ах, опять ты свое...— уже злясь, проворчал я.— В столовую буду ходить, если тебе тяжело.

— Ладно,— примирительно сказала Вероника.— Сходи-ка лучше за картошкой, а я пока мясо поставлю варить. Я сама недавно пришла.

Облик жены на моих глазах словно покрывался налетом обыденной пыли.

— Ленка на улице бегаешь?— строго спросил я.

— На улице.

Я взял авоську и пошел в магазин. Потом я подметал пол, хлебал борщ, читая книгу, потом

просматривал газеты, сидел перед телевизором. Дочка наша уже легла спать. Вероника кончила свои домашние работы, устало опустилась на диван и спросила:

— Что там в газетах пишут?

Я, как обычно, не ответил, да она и не ждала от меня ответа. Чуть выждав, я сказал:

— Вероника, завтра я задержусь. Срочное дело.

— Что еще за дело?— безразлично спросила жена.

— Да так. С человеком одним надо встретиться.

— Мне тоже надо,— вдруг сказала она.

— Странно, ты же никуда обычно вечером не ходишь?— ревниво заметил я.

— Ты тоже все вечера сидишь дома. Уткнешься в свой телевизор и...

— Да я ничего. Надо, так надо. Только вот... Ленка-то одна дома будет?

— Ой, да большая она уже! Обед на газовой плите сама разогревает.

— Ну, хорошо. А во сколько ты вернешься?

— Не знаю точно. Может, в семь.

Вопреки всем своим правилам я выгладил брюки. Вероника смотрела на меня удивленно.

На следующий день без пятнадцати шесть я был уже около кинотеатра. Мой верный изменитель внешности, конечно, спокойно лежал в моем кармане. Я не очень-то верил, что Вероника придет на свидание. Мне и хотелось, чтобы она пришла, потому что, я знал, она будет не такой, как дома. И в то же время я был бы немного оскорблен, задет тем, что моя жена ходит на свидание с кем-то другим. Для нее-то я сейчас, конечно, был другим. И вот я стоял и ждал.

Она все-таки пришла. Чуть раньше назначенного срока.

Как истинный влюбленный, я бросился к ней навстречу.

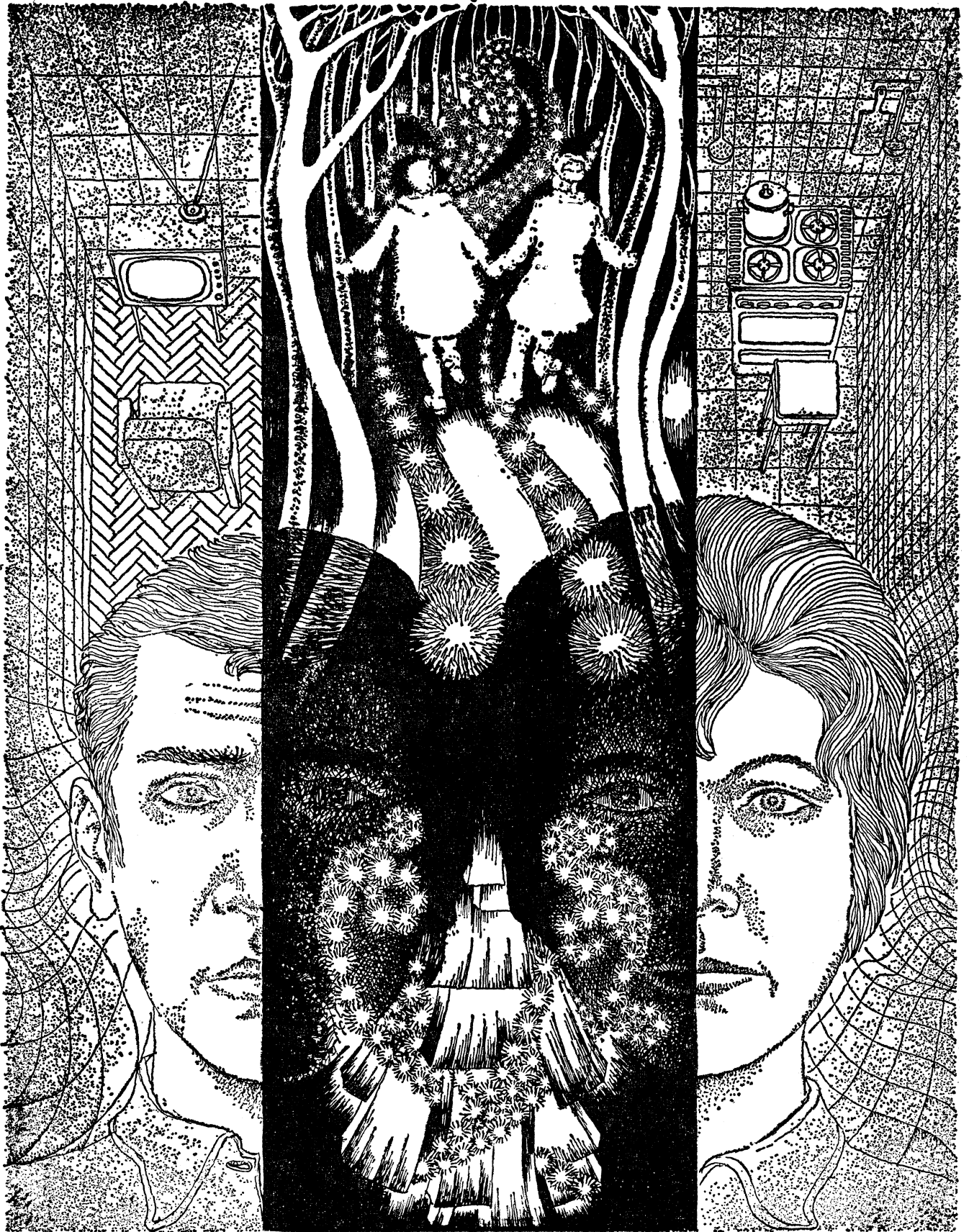
— Здравствуйте! Я все боялся, что вы не придете.

— Я просто случайно шла мимо и увидела вас,— ответила она, стараясь казаться рассеянной и безразличной. Но я-то знал, что случайно в этом районе города она не может оказаться. Она пришла специально, чтобы встретиться со мной.

— А вот в кино я вас пригласить не могу,— сказал я.— Все билеты уже проданы. Вот если вы не будете против, то завтра я обязательно достану билеты. Соглашайтесь!

— Не знаю, что и сказать,— ответила Вероника.— Я так давно не была в кино! Но дома-то что без меня будут делать?

— А разве ваш муж не приглашает вас в кино, в театр?



— Ему это и в голову не приходит.

— Вот скотина!— искренне сказал я.

— Вы действительно так думаете?— спросила Вероника.

— Да. Я так думаю.

— Тогда я принимаю ваше предложение. А что мы будем делать сегодня?

— Сегодня? На улице тепло. Можно просто побродить по Университетской роще,— сказал я.— И еще. Разрешите мне, пожалуйста, взять вас под руку.

— А вы такой же, как все,— сказала моя жена, но взять под руку разрешила.

И мы долго гуляли по узеньким тропинкам Университетской рощи. Погода ли тут виновата или лунный свет и искры на снегу? Но только мне с ней, с Вероникой, было удивительно хорошо! Она рассказывала про свою школу, где работала преподавателем истории, про учеников и товарищей, про директора и подготовку к смотру художественной самодеятельности. Все это казалось мне интересным. Она была прирожденным рассказчиком!

Я слегка прижал к себе ее локоть. И тут мне стало стыдно, словно я пытался соблазнить чужую жену. А так хотелось обнять ее за плечи, и стоять, чуть-чуть покачиваясь, уткнувшись лицом в ее платок, и ничего не говорить, молчать...

Вероника холодно посмотрела на меня и сказала:

— Почему бы вам не быть таким нежным со своей женой?

Я испугался. А вдруг она сейчас уйдет, и никогда больше не будет этой ночи, этих деревьев, ее тихого голоса, скрипа шагов? Ничего больше не будет...

— Вероника,— сказал я.— Мне хорошо с вами. И моя жена тут ни при чем. Не уходите. Пусть этот вечер будет счастливым.

Она протянула мне руку, и мы побежали, как когда-то, лет десять назад, прямо по снегу, проваливаясь в него чуть ли не по пояс, и даже упали в сугроб и долго барахтались в снегу, пытаюсь из него выбраться. А когда, наконец, нашли аллею, то оба были в снегу, как дед-мороз и снежная баба. Я отряхнул ее, но снег попал ей за воротник, и она смешно съежилась, полуоткрыв рот. Он был совсем рядом с моим лицом. Но я не осмелился поцеловать ее. Я боялся, что она рассердится и прогонит меня.

Возвращались мы, взявшись за руки, как мальчишка и девчонка. Я проводил ее до подъезда. Мы постояли еще минут пять, потом она сказала:

— Я замерзла. Уходите, Алексей.

— Завтра в шесть. Там же. Не забудьте, Вероника,— сказал я.

Она кивнула и убежала в подъезд. А я постоял еще немного, потом дошел до табачного

магазина, купил там сигарет и вернулся домой. Перед дверями на лестничной клетке я вытащил из кармана изменитель внешности, выключил его. И так мне захотелось швырнуть его куда-нибудь или просто растоптать! Ну почему Вероника дома со мной не такая, какая была сегодня в Университетской роще? Все из-за этого идиотского изменителя внешности? Но я не выбросил и не растоптал его. Пусть хоть ей будет хорошо...

Когда я зашел в квартиру, Вероника что-то пела на кухне, но сразу же смолкла, увидев меня. Она уже переоделась и была в стареньком халатике и домашних туфлях, стала обычной, какой я привык видеть ее всегда. Я тоже переоделся, напялив на себя вылинявшее трико, висевшее на мне мешком. Зашел на кухню.

— Еще ничего не готово,— сказала Вероника машинально.

Я взялся за газеты. Прибежала с улицы Ленка и тоже спросила про ужин. Вероника рассердилась и крикнула мне, чтобы я сыграл с дочерью в шашки. Мы сыграли три партии, причем все три я проиграл. Я никогда не мог постичь премудрости этой игры. Потом мы сели ужинать, и жена спросила:

— Что нового на работе?

— А-а,— сморщившись, сказал я.— Все по-старому. А у тебя что?

— Что в школе может быть нового?— ответила она.

И мне подумалось: действительно, ну что там может быть нового и интересного? За ужином, как обычно, нас развлекала Леночка, у нее был неистощимый запас историй. Но и ее иногда нужно было поддерживать: поддакивать, вставляя вопросы, удивленно вскидывать брови... Вскоре мне уже неудержимо хотелось плюхнуться по привычке в кресло перед телевизором.

После ужина жена сказала:

— Я завтра задержусь после работы часов до девяти. Ты бы помог мне на кухне? А то останемся завтра без ужина.

— Да?— удивленно сказал я, и на мгновение сладко сжалось сердце: неужели и завтра возле кинотеатра она будет такой же чудесной, удивительной женщиной, как сегодня в Университетской роще?— А мне что же, дома прикажешь сидеть?

Я заметил, что она вдруг испугалась, а потом сказала сухо и неприязненно:

— Можешь раз и посидеть.

— Не могу, завтра много работы.

— Так ты поможешь мне?

Еще бы я не помог! Да я бы все сделал, чтобы увидеть ее завтра у кинотеатра! Веро-



ника распределила обязанности, и мы быстро управились с делами.

И снова на следующий день я ждал ее возле кинотеатра. Она пришла красивая, изящная, стройная, в хорошем настроении, у меня чуть ноги не подкосились, когда я увидел ее. Да я и сам, я это чувствовал, стал не таким сутулым и серым, как дома. Я тоже хотел быть красивым, я хотел нравиться ей.

Я даже не запомнил, что за фильм показывали в тот вечер. Мы сидели в зрительном зале. Кто-то украдкой щелкал орехи, кто-то хрустел оберткой шоколада, кто-то вслух комментировал события, происходящие на экране, кто-то сдержанно храпел. А я думал только об одном — как бы мне осмелиться и взять ее руку в свою? Не обидеть бы ее...

Я осторожно протянул руку и нашел ее пальцы. Чуть-чуть, едва заметно, погладил их. Вероника вздрогнула. Я взял ее руку в свою, она позволила мне и это. Потом вывернула свою руку ладонью вверх и сжала мне пальцы.

Как я любил ее сейчас! Почему ее рука, которую я видел тысячи раз, сейчас привела меня в трепет? И ее едва заметный в темноте профиль, такой знакомый и такой необычный сейчас? Я был счастлив. События, происходившие на экране, потеряли для меня всякий интерес. Я сидел и смотрел на ее лицо. Я любил ее.

Из кинотеатра мы оба вышли притихшие.

— Глупая я... — вдруг сказала она.

— Нет, — возразил я. — Ты чудесная. И если твой муж тебя не любит, то он просто дурак!

В тот миг я ненавидел себя и совершенно естественно говорил о себе в третьем лице.

— Глупая... — повторила Вероника. — Мне кажется, я всю жизнь ждала этих дней. Зачем жить, когда тебя никто не любит?.. Мне будто только что двадцать лет исполнилось... А вдруг все это сегодня и кончится? Я уже привыкла ко всему. И к тому, что меня муж не любит, и к работе, и к домашним делам. Это и не тяготит, но и радости не приносит. А сейчас все взорвалось... Я приду домой и буду плакать. Ты такой ласковый и добрый! И я чувствую, что ты любишь меня. Мне так хорошо с тобой, что лучше бы я тебя не встречала... Нелогично, правда?

— Правда. Только ну ее, эту логику! С тобой хоть на край света...

— Мне когда-то это же говорил мой муж... Десять лет прошло. И край этот оказался так близко, что и одного шага не надо делать...

Я развернул ее к себе. Ну, конечно! Она плакала.

— Не плачь, Вероника. Ты умная, добрая...

Мы стояли посреди тротуара и целовались. Мне было тридцать четыре года, а ей — тридцать два. Шел мягкий снег.

— Я понесу тебя на руках, — сказал я. Поднял ее на руки, прошел два шага, поскользнулся и упал. Вероника рассмеялась. Но она не сердилась на меня.

— Эх, Алеша! Лет десять назад нужно было носить на руках.

— Ай-яй-яй! — сказал какой-то прохожий. Это потому, что мы все еще сидели на снегу.

— Извините, — сказал я. — Сейчас поднимемся.

Мы поднялись и пошли дальше. И через каждые десять шагов я останавливался и целовал ее в губы, в щеки, в замерзший нос и ресницы. Она не противилась. Она хотела этого.

Так мы дошли до нашего подъезда.

— Алеша уходи, — сказала моя жена. — Мне все-таки нужно домой. Муж придет, сразу есть захочет. Да и Леночка одна дома. Уходи.

— Нет, я не отпускаю тебя. Мне плохо без тебя. Я же умру без тебя.

— Ну, хорошо. Еще пять минут.

Мы простояли полчаса. И мне никогда не было так хорошо. Может быть, только тогда, когда я поцеловал ее в первый раз. Тогда мы простояли до утра, и слов было сказано мало, только самые нужные. Да и некогда было говорить. Потом мы поженились. И вот прошло уже столько лет...

— Ты замерз? — спросила Вероника.

— Нет, нет! Я несколько не замерз!

— Пошли в подъезд. Здесь столько прохожих.

В подъезде было темно, и какая-то парочка метнулась вверх. Вероника то вдруг начинала плакать, и тогда я целовал ее мокрые глаза, и она успокаивалась, то вдруг гладила своими теплыми ладонями мое лицо, и я боялся шелохнуться, чтобы не спугнуть ее нервные пальцы.

Потом она резко вырвалась и сказала:

— Все. Уходи.

— Где я завтра увижу тебя?

— Алеша, ты действительно еще хочешь видеть меня? Я тебе не надоела?

— Ты что говоришь?! — замахал я на нее руками. — Как только в голову-то тебе это пришло, Вероника?!

— Давай встретимся в Лагерном саду, — сказала моя жена. — Завтра суббота, Леночка уйдет во вторую смену в школу. Давай в двенадцать.

— Спасибо, милая.

— Ну, а теперь иди. Тебя, наверное, дома ждут... Иди, иди...

Она убежала, а я снова вышел на улицу и направился к табачному магазину. Но на этот раз он уже был закрыт.

Прохожие удивленно смотрели на меня. А мне и самому сейчас казалось, что я похож на ходячий эталон счастья.

Я выключил изменитель внешности и открыл

дверь квартиры. Тишина. Леночка уже спала. Я включил свет. Из кухни вышла Вероника. В стареньком халатике, какая-то маленькая, с заплаканными глазами.

— Ты где это бродишь до полуночи? — устало спросила она меня.

Вот она какая спокойная... А ведь только что целовала меня в подъезде. Нет. Любить мужа, очевидно, нет смысла... Меня как топором по голове стукнули. Ведь она и целовала, и любила не меня, а того, другого Алешку. На меня она и взглянуть ласково не хочет. Я почувствовал, как снова ссутулилась моя спина, как снова я стал серым-серым и скучным-прескучным. Я нехотя сказал:

— На работе задержался. Испытания заели...

— Испытания заели! — вдруг крикнула жена. — А на лице у тебя — тоже испытания?!

— Что, что у меня на лице? — испугался я.

— Посмотришь в зеркало!

Я так и сделал... Все лицо у меня было покрыто едва заметными, но все же заметными следами губной помады. Да. Исцеловали меня крепко.

— Господи, ну что же делать? — Вероника чуть не плакала. — Ну, зачем ты говоришь, что был на работе? У тебя ведь женщина есть! Зачем ты так?

Все ясно... Все эти три дня она не узнавала меня. И встречалась со мной. Хороша тоже! И я взорвался:

— Послушай, дорогая! Но ведь это ты так расцеловала меня! Ты, конечно, не узнала меня, потому что я купил изменитель внешности. Меня-то ты не любишь. Это я, я тебя люблю! Три дня счастья — это, наверное, очень много для меня...

— Какой еще изменитель внешности? — удивленно спросила она.

— Вот такой! — Я достал из кармана пластмассовую коробочку. — Вот я перед тобой — обычный. А вот я нажимаю кнопку и становлюсь красавцем, которого ты сегодня и целовала в подъезде. Теперь поняла?

— Поняла, — засмеялась она. — Ты посмотришь в зеркало.

— Нечего мне смотреться. Все и так известно.

Но она все-таки настояла, и я взглянул в зеркало. На меня смотрело все то же лицо, мое собственное! Изменитель внешности был неисправен...

— Так, значит, ты все время знала, что я — это я? — спросил я.

— Конечно, знала. Удивилась только сначала — что это с тобой произошло? А ты-то ведь знал, что это я!

— Но ты была какая-то не такая... Понимаю. ИХП? Изменитель характера?

— Нет. И не подумала даже. Он мне и не нужен...

— Ага! Значит, сначала вы ходите весь вечер где-то, а потом целуетесь! — Это Ленка появилась в дверях спальни комнаты. Она была в ночной рубашке и босиком.

— Лена, марш спать! — скомандовал я.

— Ага! Я спать, а вы тут целоваться будете!

— Ну ладно, — сдался я. — Давайте пить чай. А потом устроим танцы. — Мы занялись приготовлением чая. И всем было хорошо и весело, я уверен в этом.

— Кого это мы спугнули в подъезде? — спросил я у Вероники.

— Они целовались? — строго спросила Леночка.

— Да, кажется, — замялся я.

— Тогда это были Медведевы.

— Медведевы? — удивилась Вероника.

— Им ведь уже по сорок лет! — не поверил я.

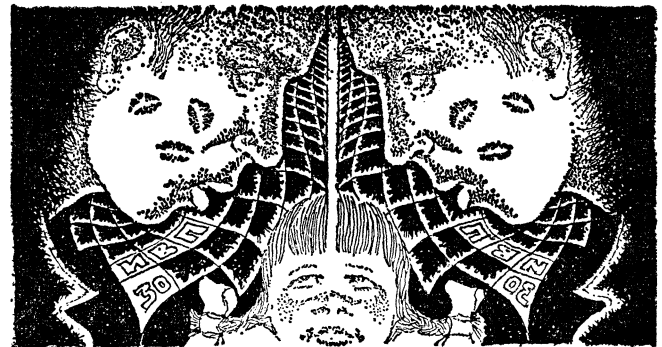
— Ну и что же, — сказала Леночка. — Если они любят друг друга.

Мы с Вероникой понимающе переглянулись. В это время вскипел чай и мы стали рассаживаться у стола.

А на другой день я вскрыл злополучный изменитель внешности. Этого можно было и не делать, достаточно было взглянуть на паспорт приборчика. Он был выпущен тридцатого ноября.

А уж я-то знал, что выпускают заводы в конце месяца.

Потом Леночка ушла в школу, а мы с Вероникой отправились в Лагерный сад. Мы очень спешили на свидание друг к другу.



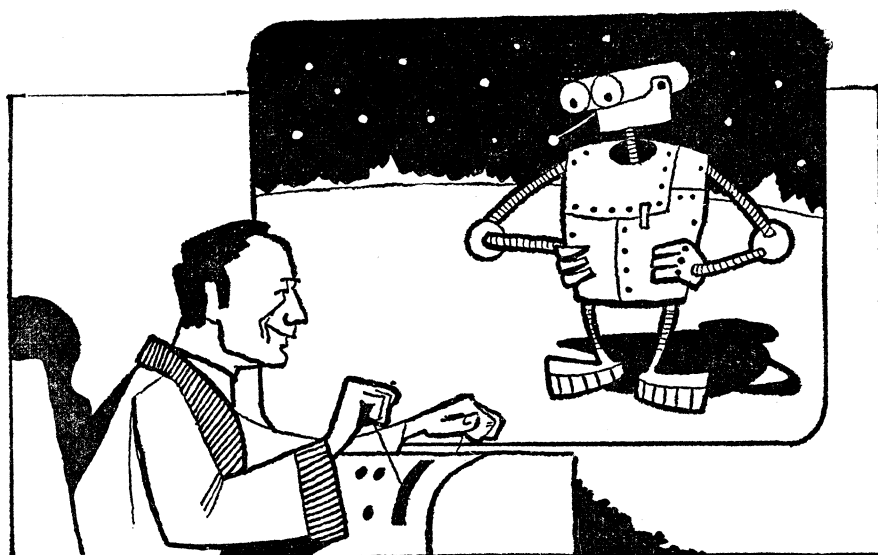
# КАЛЕЙДОСКОП

■ О науке,  
прогнесе,  
мечте

■ Прогнозы  
писателей

■ Прогнозы  
ученых

■ Микро-  
фантастика



## Побывать на Луне!..

Эмиль Петерс, герой рассказа Дж. Шлосселя «Лунный курьер», опубликованного в 1929 году журналом «В мастерской природы», мечтал побывать на Луне. «Попробуй что-нибудь другое,— уговаривали его друзья.— Самые смелые арктические исследователи, люди, которые приучили себя к тяжелым физическим испытаниям, люди, обладающие стальными мускулами и непреклонной волей, и те не отважились бы на такое страшное по своей дальности путешествие. А ведь ты без посторонней помощи не можешь двинуться с места...»

Многие годы Эмиль был частично парализован, представить его в роли космопроходца было действительно трудно. И все-таки, будучи талантливым радиотехником и обладая незаурядной силой воли, Эмиль находит выход: «стальные» мускулы, «стальные» нервы — он реализовал эту метафору, сконструировав своего «заместителя».

— Этот «заместитель», — поясняет он посетившему его другу, — благодаря радио одарен голосом и слухом. Дальновидение снабдило его зрением: я могу, сидя здесь, за этим столом, видеть через его искусственные глаза. Беспроволочное управление на расстоянии сообщает движение его ногам и рукам и придает ему какую угодно позу...

Стальной «курьер» на корабле попадает на Луну, выбравшись из корабля, путешествует по поверхности нашей небесной соседки, — и вместе с ним, не покидая своего земного кресла, путешествует по Луне и Эмиль Петерс.

Собственно, для нас в этом замечательном путешествии по Луне нет ничего необычного: первый самодвижущийся аппарат, автоматически управляемый с Земли, появился на поверхности Луны пять лет назад, в ноябре 1970 года. Приучены мы и к тому, что рано или поздно сбываются самые смелые фантазии.



«Все высокое и прекрасное в нашей жизни, науке и искусстве создано умом с помощью фантазии, и многое — фантазией при помощи ума. Можно смело утверждать, что ни Коперник, ни Ньютон без помощи фантазии не приобрели бы того значения в науке, которым они пользуются».

**Н. И. ПИРГОВ,**  
великий русский хирург.

«Ум человеческий имеет три ключа, все открывающих: знание, мысль, воображение — все в этом».

**В. ГЮГО.**

«Позавчера мы ничего не знали об электричестве, вчера мы ничего не знали об огромных резервах энергии, содержащихся в атомном ядре. Чего мы не знаем сегодня?»

**ЛУИ ДЕ БРОЙЛЬ,**  
французский физик.



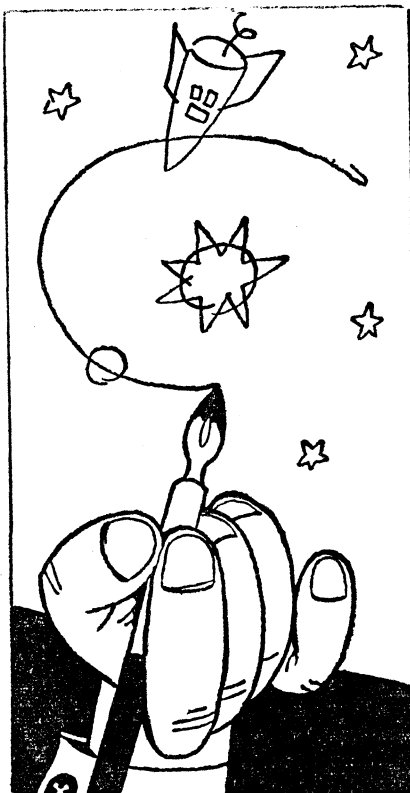
## Планета «на кончике пера»

«Экспедиция к звезде Барнарда по тем временам была предприятием дерзким, даже отчаянным. От Земли до звезды Барнарда свет идет шесть лет... Запас ядерного горючего был взят в обрест. Задержка в пути означала бы гибель экспедиции...»

Как говорится, где тонко — там и рвется. Начавшаяся внезапно в корабельных реакторах побочная реакция резко увеличила расход горючего. Гибель казалась неизбежной. Однако выход все же был найден: в обратный путь корабль должен отправиться с максимальным ускорением. Перегрузки будут чудовищными, и люди уже не смогут сами управлять «Полусом». Но это и не нужно: кораблем будет дистанционно управлять капитан, Алексей Зарубин, оставшийся на открытой планете...

Пересказанная нами трагическая история легла в основу фантастического рассказа Валентины Журавлевой «Астронавт», написанного больше полутора десятилетий назад. Но вот вопрос: почему «Полус» отправился именно к звезде Барнарда? Только ли потому, что это одна из самых близких к нам звезд? Ведь тогда, когда писался рассказ, никто не мог знать о работе астронома Ван де Кампа, опубликованной лишь в 1973 году!

Наблюдения за движением звезды Барнарда с 1916 по 1919 и с 1938 года по настоящее время заставили Ван де Кампа прийти к выводу о существовании у нее как минимум одной планеты. Американские астрономы Д. Блэк и Г. Саффолк из исследовательского центра имени Эймса уточнили выводы своего коллеги: по их расчетам, планет



должно быть две. Одна — с массой, подобной земной, другая — размером с Юпитер...

Открытие планет «на кончике пера» не в диковинку астрономам, — так были открыты и Нептун, и Плутон. Но, пожалуй, впервые планета открыта писателем-фантастом.

## Будущее — за атомом

Мне думается, что где-то во второй половине грядущего полувека появится тенденция ограничения мощности энергетических гигантов и равномерного размещения электростанций по всей стране. И здесь по-настоящему скажут свое слово атомные электростанции.

У атомной энергетики — блестящие перспективы. В самом деле, АЭС не нуждается ни в каких особых географических условиях. Она может быть расположена и на вершине горы, и в пустыне, и на берегу полярного моря, и в тундре. Она практически не нуждается в топливе — какая-то сотня килограммов в год! Она, вероятно, обойдется и без воды — уже сейчас теоретически решен и разрабатывается для применения на практике способ воздушного охлаждения.

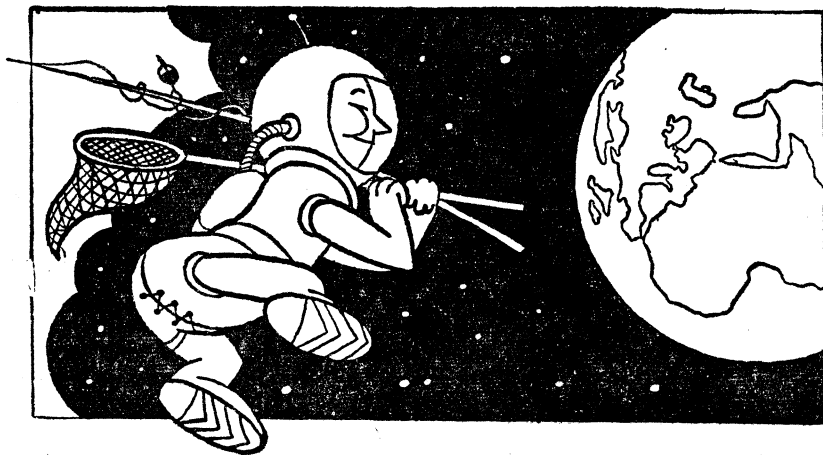
Атомная электростанция не загрязняет воздух, она ничего не выбрасывает в атмосферу. Вообще по своей безвредности для населения, для природы она представляется идеальной. Правда, иногда слышны разговоры о том, что-де опасности подвергается здоровье людей, работающих на атомных станциях. Однако вопрос об эффективной защите персонала АЭС уже давно успешно решен, и подобные разговоры напоминают сейчас былые страхи перед паровозами, автомобилями, самолетами.

**Н. А. ДОЛЛЕЖАЛЬ,**  
академик, лауреат Ленинской  
премии. 1967.

## Необъятный дом отдыха

Можно представить себе такую идеальную картину: все производство — на Луне, Марсе или непосредственно в космосе. Даже сельское хозяйство, если понадобится, тоже космическое — там оно не зависит от погоды и всецело контролируется человеком. А Земля — всеобщее жилище человечества. Вряд ли человек со своей физиологией где-нибудь так прекрасно будет чувствовать себя, как на Земле со всеми ее штормами, ветрами, но изумительным солнцем, изумительной зеленью. Земля примет первоизданный облик; с ее поверхности исчезнут поля, фабрики и заводы, она станет местом, где люди будут жить, отдыхать и радоваться. В этом случае Земля может принять огромное количество людей. В качестве дома для проживания она необъятно велика.

**А. М. БУДКЕР,**  
академик, лауреат Ленинской  
премии. 1974.



## Камуфляж

«Щупальца, положим, я упрятал. Биобатареи тоже. Крылья, если хорошенько втянуть манипуляторы, пусть остаются. Антенны под взъерошенным хохолком никто не заметит. Но что делать с гравиреактором — ума не приложу! Кто ж знал, что на этой планете так трудно замаскироваться?..»

Попугай насторожился, заметив приближающегося человека.

Педро постучал пальцем по клетке:

- Попка дурак!
- Сам дурак! — ответил какаду.

Ф. СУРКИС.



## Медленное... стекло

«Медленное стекло. Качество высокое, цены низкие...» Странное объявление, не правда ли? Мало что пояснят вам и рассуждения продавца, хвалящего случайным покупателем свой товар:

— Кое-кто из тех, кто растит здесь стекло, расписывает приезжим, вроде вас, до чего красива осень в этой части Аргайла. Или там весна, или зима. А я обхожусь без этого. Вы просто хорошенько поглядите на озеро, — вот что вы купите, если купите мое стекло!..

В чем же тут дело? Да в том, что герои рассказа Боба Шоу «Свет быллого» (1968) живут в мире, где изобретено очень уж необычное стекло, многократно замедляющее скорость проходящего сквозь него света.

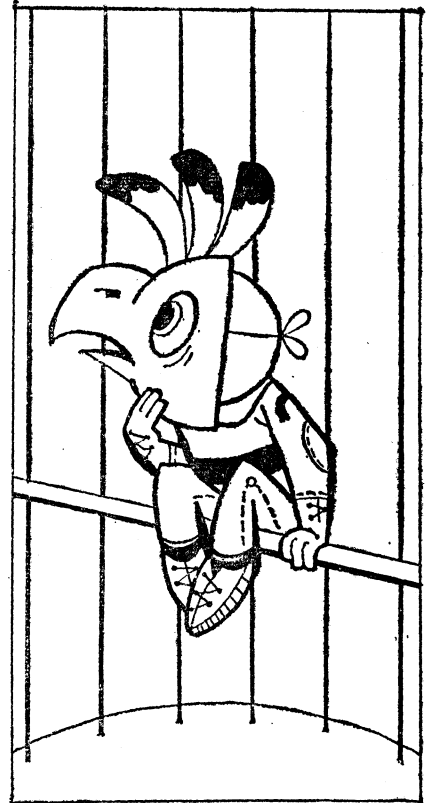
Скажем, сквозь лист стекла, приобретенного в рассказе мистром Гарлендом, свет шел десять лет. Этот лист был выставлен возле лесного озера и все десять лет «впитывал» в себя открывавшийся пейзаж. И если затем мистер Гарленд вставит это стекло в окно городской квартиры где-нибудь в промышленном районе, то из окна в течение следующих десяти лет будет открываться запечатленный в стекле вид на озеро. Причем это будет не просто хотя и реалистичная, но неподвижная картина. Нет. По воде, блестя на солнце, будет бежать рябь, и животные будут бесшумно приходить на водопой, и в небе нет-нет да и пролетит птица, и день сменится ночью, а ночь — днем, и вслед за летом наступит осень...

Словом, мистер -Гарленд будто и вправду приобретет — вместе со стеклом — тот ландшафт, которым это стекло было «заряжено». Приобретет, естественно, лишь на десять лет: после этого в стекле появится унылая панорама примелькавшейся городской улицы.

«Медленное стекло», появившись оно на самом деле, очень быстро бы завоевало, несомненно, самую широкую популярность. Но пока оно «изобретено» только в фантастическом рассказе. И, кстати, иные критики склонны утверждать, что это чуть ли не единственная за последние годы действительно оригинальная фантастическая гипотеза.

«Заинтересовано ли человечество в дальнейшем раскрытии секретов природы, достаточно ли оно созрело для того, чтобы с пользой применить полученные знания, не могут ли они повлиять отрицательно на будущее человечества?.. Я отношусь к числу тех, кто думает, что человечество извлечет из новых открытий больше блага, чем зла».

Пьер КЮРИ,  
французский физик.



# БЫЛ БЫ ЗАВОДИЛА...

**Нина  
ШИРОКОВА**

Тишина... Строгая музейная тишина... И вдруг она оглушительно взрывается надписью на планшете: «Матрос 2-й статьи, уроженец села Черемисское Екатеринбургского уезда Пермской губернии Алексей Данилович Кукарцев 17 сентября 1906 года приговорен военно-морским судом Кронштадтского порта к расстрелу за участие в восстании». Уральское село — и восстание военных моряков в 1906 году?! Залпом прочитываешь все четыре планшета...

*«Здравствуйте! Последнее мое прощальное письмо. А я иду на смертную казнь через расстрел. Я пошел не один — нас пошло 19 человек. Я погибалю за народное дело, мы добивались свободы для всего народа, который страдает всю жизнь, как и вы тоже страдаете. Но страдания должны скоро кончиться, должна скоро быть свобода!.. Тогда узнаете, какая нам будет честь. Нас губят палачи-офицеры, которые стояли за правительство.»*

5-го флотского экипажа  
артиллерийский квартирмейстер  
Алексей Данилович  
КУКАРЦЕВ.

Было ему двадцать шесть лет. На службу призван из деревни, включился на флоте в революционную работу, постиг науку ненависти к царю. Ни один из приговоренных не польстился на посулы о помиловании, обещанные за выдачу главных организаторов восстания — никто не вступил в сделку с царскими прокурорами.

Свидетельство дожившего до наших дней очевидца, бывшего матроса Л. Ленцнера: «Во время судебного следствия находились с ним в одном тюремном помещении. Алексей Данилович сидел с 18 смертниками в полуподвальном помещении, а я и еще 299 арестантов помещались на втором этаже. Когда была посадка в черные кареты, я и другие видели, что Кукарцев спокойно вошел в карету. Он был членом военного боевого центра восстания, а также членом Кронштадтской организации РСДРП(б)».

Последнее, полное страстного агитаторского накала, письмо матроса Николая Комарницкого, уроженца Каменец-Подольской губернии: «Остается несколько часов до расстрела. Все спокойны. Мысль о скором

переходе в вечность нас не пугает. У окна стоит часовой и плачет. Служащие просят на память ленточки и кокарды. Все понимают, что это не погром кронштадтских лавок, что мы восстали за счастье народа, желая ему лучшей доли. Мы смеемся над бессилием наших палачей. 2000 свидетелей было со стороны защиты и только 198 — со стороны прокурора. Судьи терялись, не находя концов, и кончили тем, что набрали число, но не нашли нужных виновных. Вся Россия виновата!..»

Страшные подробности расправы, творимой в тот мутный пред-рассветный час в Кронштадте.

Их казнили 21 сентября 1906 года на форту «Литке». Девять сава-нов лежали наготове — на девятнадцать начальство поспешило. Цепь стрелков, таких же матросов; им выдано только по два патрона, дабы избежать нового бунта. За цепью пулеметы, в качестве прислуги — офицеры, «для надежности».

Специально посланные из другого форта коचेгары привязывали приговоренных к канату, натянутому между двумя столбами. На левом фланге закричал голос: «Господи, да что же это, свиделись-то где...» — земляк узнал земляка. «Передай обо мне всем родным, скажи, умер за правду!» — спешит с последним приветом матрос.

Отвергнутый, отошел от смертников поп. Раздался залп, недружный, суетливый. На канате повисли два-три человека. Еще один залп... Матросы не умирали: живые поднимали мертвых, и палачам казалось, что никто не убит. Пошла офицерская пальба без команды... Добивали штыками...

Казненных бросили в море за Толбухиным маяком. Но то ли руки у палачей тряслись и камни они слабо привязали, то ли море решило вершить свой суд — только, когда комендант крепости сочинил рапорт: «Счастливы всеподданейше донести вашему императорскому величеству...», несколько трупов прибило к берегу, как раз против царской дачи. По этому поводу написана одна из самых жутких баллад, которую наизусть читали кронштадтцы и в 1910-м, и в 1917-м. Называется она «Царские гости»:



Трупы блуждают в морской тишине,  
Волны несут их зеленые...  
Связаны руки локтями к спине,  
Лица закрыты мешками смолеными.

В сером тумане кайма берегов  
Низкой грядой рисуется,  
Там над водою спокойно красуется  
Царский дворец Петергоф.

— Где же ты, царь? Покажись,  
выходи  
К нам из-под крепкой охраны!  
Видишь, какие кровавые раны  
В каждой зияют груди!

Полно, не бойся, ведь ты нам «отец»,  
Мы твои верные дети.  
Хлеба просили — ты дал нам свинец,  
Ласку родительской... плети.

Пусть мы расстреляны, в воду мы  
брошены,  
Будем присягу хранить до конца,  
Снова на службу пришли мы,  
не прошены —  
Стражу нести у дворца.

Будем к постели твоей простирать  
Мертвые длинные руки,  
Будем рассказывать смертные муки,  
Слушай прилежно, учись умирать!

...Трупы плывут через Финский  
залив,  
Серым туманом повитый.  
— Царь Николай, выходи на призыв  
С мертвой беседовать свитой!

Один из девятнадцати казненных,  
Алексей Кукарцев — наш,  
уральский. Его воскресили в памяти  
земляков черемисские следопыты. Из  
пучины небытия встал матрос...

Не знаю, как назвать это чувство  
— грустью, гневом, сопричастностью,  
— но мысль о том, что парень — из здешних мест, что он ходил по этой земле, дышал ее воздухом, не раз стоял и тут, на месте сегодняшнего школьного музея, так поразила, что хочется помолчать, поразмышлять над столь неожиданным фактом. Тишина вдруг взорвалась оружейными залпами и предсмертными криками, шумом далекого моря и гневным гулом матушки России...

— Чего они только не разыщут,  
не разузнают, — раздается рядом  
негромкий голос; и не слышно было,  
как вошла директор школы Валентина  
Максимовна Бесова. — Вроде и село-то  
невелико, все улицы не на раз «прочесаны»... А что-нибудь да найдут!

От такого «что-нибудь» впору  
ахнуть, думаю.

Интересно, смогли бы ребята  
сами, без взрослых, разыскать своего  
земляка Кукарцева? Самое простое:  
ведь им подсказать надо было, куда

написать. Очевидца нашли спустя  
семьдесят лет после событий — шутка ли?

Не рождаются же ребята со  
способностью разбираться в путях  
поиска. Их надо научить, направить,  
вдохновить, Полностью разделяя  
восхищение Валентины Максимовны  
Бесовой ребятами, я все-таки  
ищу ответ на вопрос: главное-то  
действующее лицо — кто? Вспоминается,  
как Валентина Максимовна  
Бесова сказала мимоходом: «Мы  
после службы мужа могли остаться  
в Ленинграде. Но почувствовала:  
не могу... тянет в Черемиску! Так  
и вернулась. И вот уже двадцать  
пять лет педагогического стажа от-  
метила здесь».

И пятнадцать лет поисковой ра-  
боты. Каждый найденный экспонат,  
каждое открытие привязывало Ва-  
лентину Максимовну не только к  
музею, но и к селу. Сама она не  
уроженка этих мест, приехала после  
института; но нет сейчас для Вален-  
тины Максимовны ничего дороже  
Черемиски, любимой школы, музея,  
который заслужил звание народного.  
Десять лет подряд на районных сле-  
тах краеведов Черемисская школа  
неизменно занимала первое место;  
в конце концов, знамя за лучшую  
краеведческую работу им вручили на  
вечное хранение.

...Сегодня — четверг, в школьном  
музее «приемный день». Скоро сюда  
придут жители села. Кто принесет  
обнаруженную в доме старую вещь,  
кто посмотрит документы, готовясь  
к выступлению или докладу, а кто  
просто зайдет взглянуть на родное  
лицо, поплакать втихомолку...

Музей враз наполнился ребя-  
тишками — экскурсоводами и сле-  
допытами. Чувствуется, хозяева они  
полные: откуда что взять, куда поло-  
жить, в какой конверт или пакет  
«устроить» новые документы, отку-  
да списать, куда вписать — все  
знают.

Две девочки-восьмиклассницы  
устроились за рабочим столом, до-  
стали ворох бумажек.

— Ну, пиши. Окончил церковно-  
приходскую школу... Три класса  
окончил. Потом в Москве — десять.  
Так. Еще что... В 1938 году, как это  
написать, закончил обучение?...

— Прошел обучение.

— Прошел обучение в Киров-  
ском клубе Осовиахима по курсу  
подготовки пилотов на учебном са-  
молете У-2. В мае 1942-го пропал  
без вести... Все.

— Фото есть?

— Есть. На, положи..

Вот так же, наверно, они начи-  
нали разыскивать Кукарцева. В один  
из следопытских рейдов по селу ре-  
бята выспрашивали премудрости  
местного фольклора. Ну, известно,  
разговор то и дело отклонялся, рас-  
сказывали старожилы про житье-  
бытье, вспоминали старое. И кто-то

сказал: «Был у нас в деревне Лек-  
сей Кукарцев, в матросах служил.  
Против царя пошел, царь его рас-  
стрелять велел».

Кто такой? Из чьей семьи?  
Начали доискиваться — узнали, что  
жива сестра Кукарцева — Елена Да-  
ниловна. Съездили к ней в другой  
город. Старушка подтвердила: «Да,  
был брат, тоже черемисский. Царем  
казнен». Написали в Центральный  
Государственный архив Военно-Мор-  
ского флота в Ленинграде. И откры-  
лась яркая судьба деревенского пар-  
ня, ушедшего на службу к царю, да  
против него же и восставшего...

Школьный музей это целый мир,  
раскрытый нараспашку. Он разме-  
стился в четырех просторных комна-  
тах отдельного здания. Окна наглу-  
хо закрыты темными одеялами —  
чтобы не выцвели фотографии, до-  
кументы. Температура самая подхо-  
дящая. Экспозиции аккуратные, сде-  
ланные с пониманием, со вкусом.

— Большой частью сами дела-  
ли, — говорит Валентина Максимов-  
на, — опыт-то немалый! Где совхоз  
помог, где учителя. Муж мне здоро-  
во помогает в техническом оснаще-  
нии, он у нас в школе автодело  
преподает.

— А я ведь грешным делом по-  
думала, Валентина Максимовна, что  
у вас кто-то из близкой родни в сов-  
хозном руководстве пост занимает.  
Уж простите... Такие хоромы для  
музея заиметь — тут или везенье,  
или чья-то личная заинтересован-  
ность. Не часто с таким встреча-  
ешься...

Вопреки ожиданиям (нелов-  
кость, конечно, есть в таком «подо-  
зрении») Валентина Максимовна  
спокойно возражает:

— Да что вы. Заинтересован-  
ность есть, только не личная, а об-  
щая. Руководство-то из кого состо-  
ит? Главный инженер, главный агро-  
ном и зоотехник, директор — они  
все учились в нашей школе, кое-кто  
и сам следопытством занимался.  
А здание нам начал строить еще  
старый директор Василий Василье-  
вич Медведев, ушедший на пенсию.  
Он послан был на село в числе  
тридцатитысячников, отдал ему всю  
жизнь, и понимал, зачем нужны сле-  
допыты и как помогают они «влю-  
биться» в родной край. Вот что  
было, то было: к депутату с наказом  
обращались, и это помогло делу не-  
мало.

Года четыре назад загорелся  
пристрой, в котором тогда разме-  
стился музей. Вся деревня прибежа-  
ла спасать экспонаты. В темноте их  
вытаскивали на дорогу, подальше от  
бугшевавшего огня, возились дотем-  
на, пока не прибрали, не уложили  
в безопасное место.

В Черемисском к музею отно-  
сятся как к своему кровному, нажи-

тому добру. Все — от мала до велика, от рядовых до руководителей — понимают, какую ценность представляют найденные ребятами сведения об участниках гражданской и Отечественной войн, этнографическая коллекция, подарки писателей, редкостные документы, рассказавшие о судьбе матроса Алексея Кукарцева. Все в музее — родное. То, что веками хранилось. С любовью добывалось.

«Если выстроить цепочку общей заинтересованности и участия, то получается такая связь. Руководство совхоза удовлетворило нужды школы и построило специальное здание для музея, потому что усилия ребят в следопытском поиске приобрели заслуженный авторитет в глазах сельчан. Школа же сделала огромное дело, благодаря учительским стараниям, тем учительским стараниям, что преодолели и усталость, и нехватку времени. На эту щедрость душевную не всякий учительский коллектив способен. И здесь появляется последнее, а вернее сказать — начальное звено цепочки: энтузиаст-директор.

Хорошо сказала одна учительница: «Был бы заводила, а пристяжные ремни найдутся». Без них не очень развернешься. В Черемисской школе любой педагог причастен к следопытству. Собранные ребятами в подробностях истории села — заслуга географа Нины Борисовны Климаревой.

Преподаватель немецкого языка Тамара Павловна Коровина руководит школьным КИДом, который тоже ведет огромную поисковую работу. Любое имя в школе вам назовут обязательно в связи с поиском в самых разных направлениях. Краеведение, боевая слава, литературный поиск, техническое оснащение музея — везде учительское руководство.

Сама Валентина Максимовна начала с литературного кружка, потом — клуб «Лира», литературный музей — и вот уже экспонаты перестали втискиваться в стеклянный директорский шкаф, перешли в маленькую отдельную комнату, выделенную совхозом. Затем потребовался целый дом.

Многие личные качества директора представляют собой счастливое совпадение, и не будет сговора, если сказать, что именно они стали краеугольным камнем музейного дела, следопытской работы в школе. Потому что эти качества поддерживали хорошую творческую атмосферу в коллективе, родили страсть и жажду поиска, выработавшие впоследствии у многих людей настоящее «профессиональное» чутье следопыта.

Она «заразила» поиском и учеников, и учителей, и всех жителей села.

С фотографий смотрят десятки лиц — красногвардейцы 1918-го, бой-

цы Отечественной, сегодняшние передовики. В витринах Ленинского зала лежат драгоценные подарки Л. Фотиевой и Е. Стасовой, снимок самого первого памятника Ильичу в Глухово-Ногинске — поисковая «классика»... Литературный зал — тысячи автографов, дарственных надписей, заглавий. Зал этнографии — причудливым пасьянсом разложены старинные купюры, древне и загадочно мерцают сделанные век назад медали...

Стоят вдоль стен ткацкий станок, самопрялка, ступы на широких лавках, круподер<sup>1</sup>, похожий на старый пень. Когда-то они стучали, гремели, скрипели, а теперь замолкли навек; никто уже не возьмет в руки щепы, косы, серпы...

Здесь каждая вещь многое расскажет. Пистолет 1833 года — времена Пушкина и Дантеса! Кистени разных форм — так и видится одинокий странник, идущий бесконечным лесом и готовый в любую минуту оборониться от злых людей. Свадебный наряд 1897 года — ситцевая, белая в крапинку, кофта, бумажный белый сарафан, единственным украшением служит поясик из узорчатой тесьмы. Наибеднейший крестьянский наряд... Эх, так ли сейчас деревенские девчонки замуж выходят, куда против их парчи и гипюра этому скромному одеянию: что служанка против королевы...

— Как же без всего этого обойтись? — говорит Валентина Максимовна. — Читаем мы с ребятами на уроке «Мороз, Красный нос», спрашивают: «А что такое подлучинник?» Вот и показываешь им. Для сумерничанья — с одним рожком, а как прясть, ткать — три или четыре. Сгорела лучина — новую поставят. Капает с лучины на половицу, ткацкий станочек поскрипывает, песня жалуется на горькую долю крестьянскую... А наткали полотна, пониток вот этот сшили или порты — вот и маленький праздник, много ли радости было?

Мы снова обходим с директором залы музея. И она подробно рассказывает об экспонатах. Не о всех — их здесь около 10 000...

Чувствую, оставляет что-то напоследок. Так оно и есть: голос у Валентины Максимовны начинает дрожать от волнения. Она берет то книгу, то письмо — ей хочется все показать, все! Догадываюсь: литературный зал — ее особая любовь. Во-первых, потому, что она словесник, и все здесь наполнено для нее особым смыслом, во-вторых, весь музей начинался именно с литературной коллекции.

Богатейшие альбомы иллюстраций, редкие методические издания,

целая коллекция репродукций, музейные монографии, книги всех уральских писателей и поэтов, книги-подарки К. Симонова, Б. Полевого, Л. Леонова, П. Тычины, О. Гончара, А. Твардовского — их просто нельзя перечислить, автографы Вучетича, Плисецкой, Ойстраха...

— Мы ведь в селе живем, к нам не каждая книжка придет... А я несу на урок целое богатство!

Вот часто говорят: многое зависит от руководителя. «Многое?» — все! Сердце, голова, душа, глаза поиска — это руководитель. Что важнее: его жизненный опыт, мудрость или идущая от сердца страсть, порождающая живое участие сотен ребятшек в следопытской работе? Конечно, и ответственность за порученное дело нужна, но она сама по себе не всегда рождает любознательность. Потому что нельзя человека «обязать» заниматься и просвещением, и приобщением к романтике, патриотическим воспитанием, нельзя «обязать» учить думать... Облечь поручением проще. Отыскать «божью милость» следопытского наставника — труднее, но и важнее, необходимее...

Тогда не встанут шлагбаумом на пути следопытского поиска проблемы «пристяжных ремней», времени, помещения для школьного музея.

Тогда вопрос — где больше возможностей для поиска: в городе или деревне, в богатом историей краю или вновь родившемся населенном пункте — окажется пустым и праздным.

Тогда, пустившись в океан поиска, следопытские флотилии откроют острова и материк. Откроют целый мир.

*Свердловская область,  
Режевской район.*



<sup>1</sup> Круподер — самодельные жернова.



# «ВЕСЕЛАЯ» ТОПОНИМИКА

**Александр  
МАТВЕЕВ,  
профессор**

*Рисунок  
А. Кирпикова*

— Это что еще за невидаль! — скажет иной читатель. — Разве бывают названия веселые и грустные? И почему слово «веселый» в кавычках?

Представьте себе, есть в топонимии такие названия. В них, как в зеркале, отражается настроение, чувства их создателей, а то и какой-нибудь забавный факт. Ясно, что речку можно назвать Хохотуньей лишь в самом распрекрасном расположении духа, а если угодие носит имя Горе-Горькое, то на нем и хлеба ерундовые и травы по-путному не икосить.

Но дело в том, что и самые развеселые названия в топонимии веселы не для всех. Потому-то это слово в заглавии и поставлено в кавычки. Только давайте по порядку.

Прежде всего веселье веселью — рознь. Иногда смешно тому, кто дает название и вообще местному населению, а другим, например приезжим, вовсе не смешно. Но бывает и наоборот: ни капельки смешного в названии нет, а приезжие, особенно исследователи топонимии, прямо умирают со смеху.

Ну ведь нет ничего смешного в названии поля Дусины Лепешки. А между тем, говоря об этом названии, местные жители обязательно посмеются и расскажут историю, как ленивая Дуся свалила в одно место весь семенной картофель: вот и выросли там в тесноте и обиде не картофелины, а лепешки.

А то есть еще большое поле Федина Молодость. Какой это Федя проводил здесь свою молодость? И нет ли тогда рядом поля Федина Зрелость или Федина Старость?

Не будем мудрить. Все довольно просто. Оказывается, когда тракторист Федя пахал это поле, он целый день распевал одну и ту же

песню — «Наша молодость, ребятушки...» Какой-то местный остроумец и назвал поле Федина Молодость.

И таких топонимов немало не только в русском, но и в других языках.

Вот манси назвали один камень в Северной Сосьве Устин-ойка-сяй-аюм-ахвтас, то есть «Камень, на котором старик Устин пил чай». Ну, пил и пил — подумаешь. Опять не смешно. А они хохочут: кто, кроме старика Устина, додумался бы посреди реки пить чай!?

А у коми-зырян одна речушка называется Прости-здорово-эль. Слово эль по-коми значит «ручей». Но при чем здесь «прости» и «здорово»? И почему в топониме последнее слово коми, а два первых — русские?

Прежде всего эти слова русские только по происхождению: они заимствованы и освоены коми языком. А все остальное еще проще: на этом ручейке встречаются и прощаются — так уж он расположен. Здесь говорят то «прости», то «здорово». Поэтому и назвали его местные юмористы Прости-здорово-эль — «Ручей (где говорят) прощай и здравствуй».

Местный житель в шутку назвал маленький ручеек Иртышом. А другой такой же ручеек, наверное, не без влияния известной кинокомедии, назвали даже не Волгой, а Волгой-Волгой.

Вроде опять не смешно? Извините, но это уже, так сказать, трагедия незнания. Все местное население смеется, потому что знает, что в их Иртыше какая-нибудь сотня метров длины, а Волгу-Волгу в любом месте курица перебередет.

Именно название вызывает иногда неуместный смех у начинающих топонимистов, хотя в нем нет ничего смешного.

Встретилось одному пытливому





юнду поле Прохоровы Штаны, и он заинтересовался, что это за название. Порыскал кругом. Батюшки! А неподалеку — луг Татарские Штаны а дальше — Ивановы Штаны, Осиповы Штаны и еще чьи-то Штаны

А воображение уже услужливо подсказывает невероятную историю: на Прохоровых Штанах потерял штаны Прохор, на Ивановых — Иван, на Осиповых — Осип, а на Татарских — какой-то татарин...

Только чепуха все это, потому что в топонимии штанов множество, и потерями существенной части мужского костюма все эти названия не объяснить.

Кроме того, есть и такие названия полей, лугов, озер и болот, как Штаны, Штанное, Штанское. Только и тут никто инкогнито брюк не оставлял и не находил. Названия эти, как вы уже, наверное, догадались, — обычная метафора. Так очень часто называют поля, покосы, болота, озера, по форме похожие на штаны. А как их назвать лучше? Точнее, пожалуй, и не скажешь.

Или вот еще один веселый топоним. Не только у нас на Урале, где русские живут с давних пор, есть много речек с названиями Портомой, Портомойка.

Морфологический состав названия Портомой чуть-чуть затемнен. Поэтому один маститый ученый даже подумал, что оно нерусское и расчленил его на Портом — основу с неизвестным значением — и географический термин ой — «ручей, река», родственный карельскому слову оя — «ручей».

Но наш начинающий топонимист оказался подгадливей.

— Портомой, Портомойка? — повторил он. — Хм! Есть в русском языке такие слова: рукомойник, помойка, в Ленинграде — река Мойка, а у Корнея Чуковского — Мойдодыр.

И осенило его: Портомой или Портомойка — это речка, где моют порты. А портами раньше называли штаны. Опять штаны!? Вся топонимия на штанах построена, что ли? Значит, в старину были речки,

где штаны стирали отдельно от белья?

Наш молодой друг не сделал великого этнографического открытия. Портами раньше называли не только штаны, но и любую одежду. А Портомой или Портомойка — это или небольшие речки, где полощут белье, или, если мы имеем дело с образными названиями, — речки с темной, мутной, как после стирки, водой.

Ну, хватит о штанах и портах — всему есть мера. Теперь немного поговорим о болванах.

В топонимии болваны кругом куда ни посмотришь — буквально на каждом шагу. Болванский Нос — на Полярном Урале, Болвано-из — «Хребет болванов» — на Северном, гора Болван — в Пермской области, а уж покосов и прочих урочищ с названием Болван просто не счесть!

Наш молодой коллега, обжегшись на молоке, уже не торопится прямо связывать все эти названия с болванами в общеизвестном обычном значении слова. И правильно делает, потому что все эти болваны совсем другого рода: или идола — Болванский Нос, или каменные столбы, скалы-останцы — Болвано-из, или отдельные вершины. А чаще всего Болван — небольшой покос, обычно круглой формы, расположенный где-нибудь в старичье реки отдельно от других покосов.

Так что топонимические Болваны не имеют никакого отношения к настоящим болванам.

Читатель кажется огорчен: выходит, что по-настоящему веселой топонимии нет. Верно, — нет. И даже когда луг или гора называется Веселым или Веселой, то это значит, что здесь хорошее, веселое место и только.

Да и правильно, что само слово не веселит. Ведь название создается не для забавы, а для дела.

Вот и все о «веселых» названиях. Так что не удивляйтесь, что это слово заключено в кавычки.



# МОЙ РАЗНЫЙ ЛЕС

**Иван  
ПОЛУЯНОВ**

Рисунки  
Н. Брезгулевской

*Винтики*



Накануне лили дожди и можно было надеяться, что снег в лесу тронется, не устоит.

Устоял! Непроходимые сугробы — до колена ледяная вода, выше колена податливая рассыпчатая каша — встретили нас на пороге хвойника. Значит, планам, какие мы строили на весну, сбыться не суждено. Мечталось побывать на глухарином току, послушать, как еще впотьмах огромные бородатые птицы щелкают, точно бьют в кастаньеты, нашептывают что-то свое, таежное, древнее, потом, слетев с деревьев, сходятся в драке — крылья нараспашку, хвост торчком... Снег, все снег, будь он неладен! Не для нас темной ночью будет ухать филин, рогатым чертом возникая в полосе лунного света, не для нас сквозь гущу хвои засветится синяя звезда, протопает ежик через тропу!

В город, однако, возвращаться уж поздно.

С ночлегом устроились в перелеске. Натаскали хворосту. Валежник для костра. Хвойник для постели. Ветер на проталинках шуршал палыми листьями. Припекало солнце. Распускалось волчье лыко — таежная сирень, за березами куковала кукушка, и я наискал сморчков — ранних грибов. Что за май: и снег, и кукушки, и грибы...

После заката резко похолодало. Несмотря на костер, к утру у нас зуб на зуб не попадал. Право, состоится ли нынче весна?

Снег сковало настом. Я побрел от привала куда глаза глядят, заранее уверенный, что ничего путного так и не выйдет из поездки. Пустая трата времени.

С этим лесом у меня сложились особые отношения. Он рядом с городом, тут не тайга. А медведи есть, заходят рыси, в сухой пещере под корневищами сосен гнездятся филины. Я люблю свой лес, его тропы, муравьища, поляны. Многие деревья в нем мои знакомые, узнаю их в лицо. Мне горько, когда такое дерево хворает, пора-



*Иван Дмитриевич Полуянов — автор многих книг для детей и юношества. Он большой знаток природы севера, народных обычаев и языка. Характерна в этом отношении последняя книга писателя «Месяцеслов». Живет и работает в Вологде.*

женное болезнью, как если бы подобная беда стряслась с кем-нибудь из близких...

Небо было обложено тучами. Нет-нет и перепали колкие снежинки. Наст хрустел и осыпался шумно.

Я повернул бы назад к костру, если бы вдруг не очутился на стройке.

Синицы-гайки пробивали дупло. Вдвоем, на пару. Кто он, кто она, поди разберись. Обе птички серые, обе пухлявые и одинаково пищат:

— Чш... чш! Та-ать... тать!

— Тать... чш!

Я-то по вашему тать? Спасибо, удружили. «Тать» — значит разбойник. Слово старинное, почти забытое.

— Та-ать! — надрывались гайки. — Чш... чш!

Ладно вам, будет шикать. Однако отступил назад. Лучше сказать, попятился.

Настроение вконец испортилось! Надо же: к глухарям ехал, к гайкам попал и тем помешал!

Под дупло синицы выбрали ольховый трухлявый пенёк. Был он одна гниль, тгни и развалится. Гайки, чего уж!

В любом лесу-хвойнике их полно. И не видно их, не слышно. Не выставляются. Нечем им: серый пушок, писклявый голосок. На темени кепочка, вроде бы козырьком назад, зиму-лето носи, смены не проси. Что тут еще добавить? Ничего. Гайка это вам не снегирь — красная рубаха распояской. Не синица большая: у лесной модницы напудренные щечки, желтый жакет, по животу черный галстук, задор беспечный, ухватки оборотистые. Не дрозд — грудь в веснушках; залететь, засвищет — услада!

Есть гайки, нет их — не задумаешься. Ничем серенькие не взяли: ни пением, как дрозды, ни оборотливостью, как большие синицы, ни ярким опереньем, как снегири.

Одна гайка копошилась внутри пня, дуплецо было пока что мелкое: хвост высывался наружу. Вторая суетливо попархивала по соседнему кусту. Она несла караульную службу, этакий солдатик, шустрými глазенками стрелявший по сторонам. Караул не зевал, то и дело слышалось:

— Чш... чш!

Вот строгости-то, глазом не моргни, сразу окрик:

— Чш, та-ать!

Поругайтесь у меня, ишь, язык распустили, я вот вам!

По тому, как хвостик строительницы напряженно вздрагивал, ни секунды не оставаясь в покое, легко было понять: трудно большой серой крохе дупло пробивать. Уж, во всяком случае, не то, что шикать и на ветке вертеться вниз головой.

На короткий миг куцый хвостик исчезал, строительница выглядывала из дупла: «Чш!» И, пробелев, падала соринка. «Чш», — гаечка как бы

предупреждала — берегись, зашибу. Соринку подхватывало ветром, уносило в сторону от пня, до того она невесома. Белая, столь же белая, как снежинка, столь же невесома.

Синице с ее слабыми силами, с крошечным клювом иначе дупло не пробить, как выщипываемая гнилую мягкую древесину. Крупинка по крупинке, волоконце по волоконцу.

— Чш! — воскликнула гайка, вынеслась из дупла с изрядной щепкой в клюве. Ручаюсь, тащить большую ношу было тяжело, строительнице тянуло вниз. Она летела на меня по прямой, только по прямой, груз мешал, и я уступил ей дорогу.

— Тя... тя-тя! — закричал караульный с прутика, бросился было ее сопровождать, но вернулся с полпути к пню.

Глядь, снова в дупле вздрагивает куцый хвостик.

Глянь, снова по кусту перепархивает солдатик, стреляет по сторонам шустрými глазенками — это строительница, только что унесшая щепку подальше от пня, заступила на караул. Она вертелась — голова вниз, хвост вверх — и похоже, очень похоже попискивала:

— Тя... тя! Чш! Чш, тятя!

Стоял я у пня, гайкам мешал — татем был, лютым ворогом; дорогу уступил — стал синицам как родной отец.

Вспомнилось мне, что гаек зовут еще винтиками. Ну да, винтиками! Может быть, она — гайка, а он — винтик? Вот различать их как? Гайку от винтика — по каким признакам? Не знаю. И ничего о них не знаю, ничего не вспомню. Сколько по лесам хожено, брожено, чего только не навидался, — почему же о серых синичках вспомнить нечего? Ведь они с тайгой неразлучны. Круглый год ей служат верой-правдой. Обирают с коры, сучьев, таскают за усы, сажаят на клюв, как на штык, всякую нечисть, мешающую жить лесу в здравии и покое. От темна до темна в хвое крутят, вертят. От темна до темна: «Чш... чш!»

Много их. Больше всех.

Не оттого ли гаек не замечаешь, что много их?

Не привыкли мы замечать то, чего много. Глухаря нам подай, медведя в малиннике, рысь на тропе!

Дай нам да подай, а что мы даем, когда тропы топчем с ружьями, с кузовами и корзинами?..

Косо чертил, шелестел снег. Раздалось хрипло, простуженно: «ку-ку». И смолкло. Кукушка подавилась снежинкой.

Стыло в лесу, промозгло, слякотно.

Ничего, все равно весна.

Быть весне... Быть! Кукушкам куковать, бегать ежикам, филину ухать... Лесу любимому быть, раз есть в нем винтики!

За те минуты, что я зяб у пня, синицы трижды менялись местами, и сигналом к тому слу-

жила очередная щепочка: ее следовало унести подалеже, чтобы не выдала синичью стройку. Отчаянно гаечки торопились, я в том убедился воочию. Стройка велась без перерыва, всегда свежими силами.

Пока и все. Ничего более. Нашел я синиц-гаек. Не потеряв, нашел милых винтиков, которые простодушно назовут тятей, отцом родным каждого, кто им не мешает.



## Нежность

Весела и улыбчива березовая роща. Строг и величав сосновый бор: гулко, просторно под его хвойными сводами, хочется обнажить голову, точно в древнем храме, и говорить шепотом...

А ельник, он что такое?

Если у каждого леса есть свой характер, то в ельнике главное — суровость. Угрюмая, насто-



роженная. Привлекает роща берез радушной открытостью. Беспечно болтливы осиновые перелески. Под сосны ступаешь с радостью — что за белый мох, мягкий, как ковер, что за стволы, как из меди изваянные колонны! В ельниках, захламленных колодинами, хвоя темна, сивы всякие лишайники и сыро, сумеречно средь бела дня. Потягивает ветер шепеляво, строжит: «Т-с! Т-с-с...»

Сплошные ельники мало обитаемы. Ни звериного следа на сыром зеленом мху, ни птичьей звонкой разногласицы в запаутиненной хвое. Крадучись прошмыгнет белка да черный дятел-желна возвестит зычно: «Пен-ны! Пе-ень!» И верно, пень. Трухлявый остов погибшего на корню древесного исполина. Снизу доверху пень в грибах-трутовиках, увесисто каменных, будто лешачьи копыта. Не пожилось, знать, тут лешему, затосковал и откинул бедняга копыта!

Ели. Валежник. Мох. Мох и мох. Где почва суше, слой мха истончается, исчезая совершенно у подножий деревьев. Голо под елями-вековухами, ни былинки. Только палые с облезлой корой сучья, только ржавые иглы и скрюченные, зачахлые елочки-малышки. Неприветливы вековухи, простерли колючие лапы, — с собственными детьми не поделаться светом и влагой. Дико, угрюмо в вековом ельнике, и оторопь берет случайного путника, забредшего в такую чащу. Не чаёт он выбраться, — поскорей бы к лиственным рощам, к солнечным полянам, где цветы пестрят, где в густой траве играют солнечные зайчики!

Но ельники не обойдены цветами, и через них с неожиданной стороны открывается характер таежной глухомани.

Дивные цветы произрастают в сумраке и прели: надбородник, калипсо, любка, венерин башмачок. Не рискуя впасть в ошибку, можно поручиться, что и бывалые таежники их редко видали, а то и вовсе о них не слыхали. Как тропические орхидеи тяготеют к непролазным джунглям, так лесные будто нарочно прячутся по хвойным островам. В том числе надбородник, не сравнимый, пожалуй, ни с одним нашим растением: нет листьев, лишь дутый стебель, корни, как борода, и бледные, словно изможденные цветки. Если ночная красавица любка и венерин башмачок, «царь-цвет» древних колдунов-травознаев, еще встречаются в изреженных лесах близ деревень, надбородник — в приболотьях, то уж калипсо растет единственно в глуши. Или в лесах, недавно слывших недоступными.

Редки орхидеи таежных джунглей, искать их — все равно что клад!

Есть, однако, заурядный цветок: кисличка. Случается топчем его, не обращая внимания, что под сапог попало.

В любом хвойном лесу кисличку встретишь. Пройдешь мимо равнодушно.

Всю свою красу являет кисличка в дрему-

чих ельниках. Там ее и увидишь... Там, единственно там!

По-моему, нет ничего беззащитней кислички в цвету. Прелестное, но хрупкое создание.

Так почему же они столь близки, будто порознь им не житье, — старые деревья, поседелые от лишайников, угрюмые отшельники, не позволяющие былинке подняться с ними рядом, и бледная травка — сама воплощенная нежность? Что общего между тончайшими белыми лепестками и колючей хвоей?

Несказанно преображается еловая чаша в канун лета, когда осененные хвойными лапами тысячами тысяч распуస్తятся кислички и высветят сумеречную темень. Затхлая, заколоченная трущоба как-то смягчится, поболеет. У насупленных, диковато угрюмых исполинов, самых дряхлых елок, потрепанных бурями, в ту пору на лапах пробиваются свежие, мягкие и не колкие иголки, собранные в пушистые кисти.

Запахи растущей хвои и едва уловимый аромат цветов перебивают дух тлена, гнили. Праздник в мохнатых недрах чащи — кисличка цветет!

Мхи белым-белы, белым-белы...

Листья травы по форме тройчатые, цветок как звездочка. Белые, в розовых прожилках лепестки — большие недотроги — задеть нельзя. Что там прикосновение — солнце глянет пристальней, и это их испугает. Кисличка не выносит чужого взгляда. Солнце чуждо теснинам ельника. Если лучи его останутся на кисличке, листья побледнеют, сложатся подобно крыльям мотылька, цветок поникнет, как повянет. Впрочем, кисличка воспрянет, когда луч солнца переместится в сторону...

Бережет ельник, охраняет кисличку — нежность, воплощенную в белые лепестки.

Он — замкнутый, недоступный, и она — юная, легкая, светлая... Недолг срок цветенья, опять ельники замыкаются в себе. Даже листья кисличек словно бы теряются во мхах, замусоренных иглопадом.

Мох. Колодины. Хвоя. Темная жухлая хвоя и серые шершавые стволы...



## Дом-шалаш

А вот еще было: по лесу ходил, искал шалаш с периной, нашел и за порог не ступил. И уж перинка-то была — пуховая, ложись и почивай!

Не шучу, в самом деле нужно мне было гнездо пеночки-веснички. Хотелось проверить, правда ли, что наша певунья таскает пух-перо и тогда, когда в гнезде птенцы пищат, есть просят? Тысячи там перьев, пух, а маме мало, все мало.



Такая, говорят, домовитая, что перышко ей не попадайся, сразу унесет птенчиком на перину.

Хорошо искать, когда знаешь, где найти.

Я знал, догадывался. Знакомая мне в лесу прогалина, зеленый уголок. Кругом белые березы, от них светлым-светло, как от цветов пестрым-пестро. Толстые, одетые в бархатные шубы с меховыми воротниками, шмели, одышливо отдаваясь, жужжат с таволги на ромашку, с ромашки на медовую кашку. Плечами оттирают они бабочек, мух, жучков, прильнувших к цветам. Пустите-ка!.. Расталкивают шмели эту мелюзгу, тяжело ворочаются, и пыльца цветов на ножках напоминает желтые лампасы.

Чуден лесной уголок, где шмели генеральствуют! Земляника подставляет солнцу румяный бочок. Березы, косы распустив, светят стройными стволами и стелют прохладные тени...

Хорошо искать, коль знаешь, что найдешь!

Гнездо пеночки — шалаш. Где под кустом, где под пеньком или валежиной, где и в открытую. Неказист домик-шалашик, кровля поката. Из былинки, сухой прошлогодней травки сложен. Неказист и мал: ладонью накроешь.

Конечно, полянка тоже невелика. Зато часты кусты, трава густа, в траве пеньки и колодины...

Искал я весничкин шалаш с пуховой периной, нашел — не нашел, а дальше порога не пошел. От крылечка повернул назад, и все тут...

Веснички мне сами показали, где их дом. Может, не хотели, но так получилось. У птенцов, наверное, был обед.

Шустрая зеленая мама, с зеленым шустрым папой вместе, поминутно приносили комаров. Не рыжих кусачих надоед, а долговязых долгоножек, какие водятся по лесам, по болотам и которые выглядят великанами перед обыкновенным комариком. Пеночки таскали великанов, только ноги у этих комаров болтались на лету. На первое деткам комар, на второе комар — ешьте, что дают, не привередничайте! Известное дело, птенца дай да подай, аппетит прекрасный. Комара за комаром носили веснички откуда-то из-за кустов. Путь птичек через поляну был примечателен своей неизменностью. Выюркнув из кустов, птичка делала крутой бросок в гущу травы и присаживалась всегда на один и тот же ивовый кустик. Низкий кустик, скрытый в траве по макушку. С куста она всегда в одном направлении ныряла вниз на голый сучок трухлявого пня...

Ну да, у пенька ее дом, шалашик травяной, на пуховой перине птенцы! Это кому-то сучок, больше ничего, а весничкам — крылечко!

Крыльцо-крылечко в моем зеленом уголке, где светят березы, земляника румянит бока и шмели генеральствуют. Раздвинул я траву, стебли спутанные, перевитые, и разглядел шалаш с покатай кровлей. Битком набит он... Что там пух! Птенцов в шалаше — по самую крышу! Битком набит он птенцами, на пуховой перине им не спится, как один, рты пялят. У кого обед на час, у них — на целый день. Длинный-длинный летний день.

Прилепился к пеньку, стоит весничкин шалашик, ладонью его накроешь. Тысячи перьев, белый пух, птенцы разевают клювы, комаров просят. Осторожно отступил я назад, перышка не тронул.



## Веревочка

Видали ль вы, как ребяташек детского садика водят на прогулку? Бутуз, щечки наливные, держится за руку воспитательницы, второй, пристроившись сзади, ему за пальтишко, третий — за второго... Пошли, затопали! Пищит и лепечет караван. Держит он путь через улицу. Милиционер вскидывает полосатый жезл, замирает движение транспорта — дети идут!

...У землеройки семейное жилище — шар, свитый из травы-сухостоя. Подогнана былинка

к былинке. Теплое гнездо, врагам недоступное: надежно укрыто в пещере под мощными корнями старой ели. Наверху грудями хлам, древесный лом. Сумеречно, тихо. Солнцу не пробиться сквозь этажи колючих лап. Ели, ели — теснота серых стволов. Глушь, на многие версты медвежья глушь.

Собою землеройка похожа на мышонка, один вытянутый хоботком нос выдает — это зверюшка другой, не мышинной породы. Землеройка сама хватает мышей. Попадись только, живо сцапает за шиворот: мал зверек, да удал. Больше, однако, землеройка пробавляется насекомыми, ловит, ночи напролет шныряя в пластах опавших сучьев, хвоя, прелой листвы. Выпадет случай — то лужу переплывет, то глубоко под землю спустится норой крота. Не нашлось жуков, червяков, лягушат, поест и семян. Голодать не в ее повадках. За день съедает корму гораздо больше собственного веса.

Но если в гнезде семеро, всем дай да подай, тут-то маме-землеройке каково? Дать-то дать, а где взять?

Что было поблизости — все мало-мальски съедобное, — землеройка переловила и перетаскала.

Может быть, это обстоятельство послужило сегодня поводом, чтобы землеройкино семейство впервые покинуло гнездо?

Вышли... Вышли мир посмотреть и себя показать!

Впереди мама, сзади курносые малыши. Как один курносые! Первый держится маме за хвост, впившись зубками справа в основание хвоста; второй — за хвост первого, третий за второго... Ползет, выползает из-под елки живая веревочка, топает по хвойным иглам, сопит и таращится — на дремучие ели, на валежник гнилой и серое пасмурное небо.

Попискивает землеройка, строжит: эй, топай резвей, эй, рот не разевай!

Крайний в веревочке малыш, видно, зазевался. О хвойную иголку запнулся. И выпустил хвостик соседа изо рта... Караван дальше ползет, лапками семенит, а он остался.

Хнычет крошка: обождите!

Нет, семеро одного не ждут. Зазевался — пеняй на себя.

Шел караван, вилась живая веревочка. Шел, шел — под землю ушел. В новую пещерку под корнями или в кротовую нору.

Ничего, отставшего мать вторым рейсом уведет. Самостоятельно-то ему шагу не шагнуть: нос не дорос! Иначе, как живой веревочкой, у маленьких землероек гулять не полагается. Долго ли курносые крохам потеряться среди валежин, палых сучьев, древесного хлама и лома?



## Рябинники

Сейчас в лесу смотрины. Чудо что такое клен, осина — просто загляденье. Черемухи цветисты. Лимонно-желтые или огнисто-алые. А ивы? А калина — ягодки каленые? Все равно рябина никому не уступит: не дерево — жар-птица! Она-то уж себя не уронит. Другие деревья хороши и прекрасны, а она... Не хочешь, да оглянешься!

Гроздь на рябине, навись тяжкая. Старожилы, небось, не помнят подобного урожая.

Дрозды гостили, снегири, хохлатые свиристели. Обьедались, суетились, ягоду в рот, две — на землю. А рябины вроде бы не убывало. Из гущи хвойной под рябины глухарь пешком проходил. Солиден, основателен бородатый лесовик: красные брови, зеленый атласный жилет, бурые крылья, как полы до полу. Ходил глухарь, траву мял, мох топтал. Не погнушавшись крохами с пира птичьей мелюзги, наклонялся, белым клювом подбирал ягоды. Ел, из лужицы водичкой запивал и тряс бородой, покряхтывал:

— Крех... крех...

Пестрых тетерь, глухарушек, что ли, таежный петух созывал к даровому угощению?

Глухаря спугнул: вот он загрохал, вот захлопал — по лесу треск! Раза два-три с разбежки подпрыгнул глухарь, прежде чем подняться на крыло. Тяжелел лесовик, откормился за осень — на ягодниках!

Кругом звоны, кругом шорохи. Лист по листу роняют деревья, словно делятся с самой землей красой своей ненаглядной. Нам хорошо, пусть другим будет лучше! В дремном затишье вдруг сорвется желтый листок. Летит, подпархивает, попутно ударяется о сучья, издает притаенный звон, гаснущий в жухлой сухостойной траве. Всколыхнутся вершины, ветер дохнет, тогда лист течет шумно. С каждой ветки — струя. Ветвей много, целый лес, и листьев много. Струйки соединяются в потоки. В шуршащие пестрые потоки.

Глазам отрада — листопад, если сухо, паутина искрится, синицы бесшабашно тренькают, небо голубое, чистое. В осеннем лесу пахнет валежинами, мхом и сладко-сладко — вянушей листвой. Этот запах сложен, стоек, есть в нем что-то такое от здорового дыхания леса, от силы его доброй, щедрой и древесных соков. Хмелит он и бодрит. Если сравнить его с чем-то, подойдет лишь весенний запах растущей травы, юной листвы. Всеу свое время. Есть время давать посулы, надеяться и обещать, приходит время итогов и сбывшихся надежд. Есть дни мягкой зеленой травы, есть и время золотых берез, красных рябин.

Лес, что мог, все исполнил, и теперь осыпается. Он празднует, ликует, когда осыпается...

А мы грустим. По зеленым листьям, по лету. Зачем грусть? Ни к чему печаль, когда в лесу листопад!

Где лист осыпался, прутья голые, там почки. Под шорохи листопада деревья готовят себе весну. Итог не итог, коль он не совмещается с загадкой на будущее: лист течет нарядный, с каждой ветки брызжет струями на ветру и — уступает место грядущей смене. О весне, о лете грезится лесу — через безвременье слякотной осени, через стылую зиму...

Так о чем же наша печаль?

Задумавшись, сидел я под рябинами, крутил в пальцах перистый багряный листок, слушал шорохи и завидовал ясной жизни деревьев. Тоже и мне катит осень в глаза, что по мне-то останется, какие почки? У кого почки, у тебя одни узелочки на память: это не сделал, то не успел, из рук упустил...

Заяц возник у рябин, как чертенок в сказке, внезапно и неслышно. Ах ты, бесенок, ушки, точные рожки!

Что, тихого омота ищешь? Брось, брат, смотри, прогадаешь... Как ничто другое, зайца пугает листопад. За шумом листьев ему мнятся жуткие страхи. Дунет ветер, зашуршит палый лист: ой, то не волк ли? Не лиса ли? Мечется





косой, колесит по лесу, ищет затишья под елками. Тихо в ельнике, покойно. Не загремит побитый инеем лист. Густы мхи, глушат любой звук. Лось пройдет — не слышно. Медведь протопадет, косолапя, — не слышно. Лиса... Уж лиса подкрадется к самому хвосту, подавно ты, косой, не услышишь! Вот-вот, боимся лишнего шороха, да на зубы и попадаем, — понимаешь ты это?

Привстав, заяц тянул тонкую шею, наивно выкатив карие глаза. Его длинные уши жили как бы сами по себе: бросил зайка шею тянуть, дергать нашлепкой тупого носа, но уши не успокаивались. Слушал косой, правое ухо вперед, левое назад. Одно ухо торчком, другое — вниз и в сторону.

Наконец, заяц опустился на все четыре лапы, задрал в небо хвостик и давай убирать рассыпанную рябину!

Это было до того неожиданно, так не вязалось с давно сложившимися представлениями о зайцах, любителях кору грызть, что я чуть не ахнул. Ну, ты даешь, бесенок!

Опираясь, как на костыли, на длинные задние лапы, заяц проворно подпрыгивал, уплетал рябину за обе щеки и попутно скусывал травинки. Когда он вставал на задние лапы, настороженно тянул шею, травинка торчала, точно усы, опять своей напуганной жизнью жили длинные уши.

Затекли ноги и я шевельнулся — заяц тотчас на меня выпучился. Глаза его напуганные, уши кричали: ты кто? кто?!

— Тоже рябинник, — ответил я.

Ух он подскочил, ух пошел вскидывать задними лапами, унося куцей хвост подобру-поздорову!

Я сорвал гроздь рябины. Пожевал и проглотил — ай да рябина, слезы из глаз! Ядрена и забориста, с одной горсти стал я сыт!



## *Большие березы*

Редкий день у амбаров, месте сборищ детворы, не околачиваются босоногие ватажки. Куда пойти? Грибов-то, ягод — лопатой гребь! Шум, споры. Но все смолкают, когда кто-нибудь скажет: «Кабы на Кошкину горку выбраться...» В устах мальчуганов эта Кошкина горка звучала не менее заманчиво, чем Индия — когда-то встарь, в испанских да португальских портовых тавернах. Мечта пламенная. Предел желаний!

Я в здешней грибово-ягодной Индии побывал. Не пожалел ног. Нашел дальше урочище, куда, уверен, кошку сметаной не заманишь.

Дебри, а направо пойдешь — белых в кузов наложишь; налево свернешь — ягод к грибам добавишь.

Деревья, деревья. Они застят небо. Тускло, сыро под их сводами. Березы. Одиночные среди елей, белые, в извечном хвойном мраке очень белые березы.

Алым колпаком, кружевными панталонами хвастает мухомор, кичливо выставясь у муравьища, разрытого медведем. Боровик загорелый крепыш, скромненько жметя в тени папоротников, поджав толстую ножку.

Пышно розовеют на полянах заросли иванчая. Тяжесть спелой малины гнет стебли. Воздух тягуч и сладок, тоже сдобрен малиной — хоть чай с ним пей, как с вареньем.

Кругом море. Зеленое, хвойное. Рокот листвы на ветру звучит точно прибой.

Если в синем море о берегах догадываешься по свету маяков, то в зеленом, лесном море о близости его края — по крику петухов.

Не слышать петухов с Кошкиной горки...

И, собственно, при чем тут горка?

Облазил все вдоль и поперек. Ну никакой горки! Ни кошкиной, ни мышьиной!

Признаться, для меня деревенские названия угодий таят свою прелесть. Прелесть открытий и узнаваний. Есть большая история, на уроках спрашивают о пирамиде Хеопса, битве при Грюнвальде, о короле Пипине Коротком. Есть школьная география, и нужно уметь найти на карте остров Пионер, мыс Желаний, показать путь Магеллана, помнить, кто открыл пролив между Азией и Америкой. В то же время кажда, пусть захудалая, доживающая свой век деревенька хранит единственную в мире — собственную историю. Она в людской молве, в устных преданиях. Есть в деревнях своя география. Не хочу умалять увековеченные на карте мира великие имена, однако по мне чего-то стоит и безвестный Митя, раз Митиным зовется поле за деревней, или Дуня — ее имя носит мостик через ручей. Ничто доброе не проходит бесследно, и человеку дано оставить по себе память: кому на глобусе, кому в неписаной деревенской географии...

Отдыхал я как мог. Носил грибы, ягоды брал. Узнал Митино поле и Дунин бревенчатый мостик. Между тем сомнения не покидали: на Кошкиной ли горе бываю?

Разобраться помог дядя Федя, пожилой, неопределенного возраста инвалид на костылях, ему дашь как сорок, так и все пятьдесят: из-за сутуловатости вислых плеч, по морщинистому лицу и клочковатой побеленной сединой бородке. Лето дядя Федя проводил на крыльце, плел корзины, вдумчиво дымил табаком-самосадом яркой крепости, от которого, по выражению Феде, мерли мухи, и зорко надзирал за мальчишками — повадились огольцы таскать с гряд репу.



— Кошкина горка, — сказал дядя Федя. — Туда ходишь, точно говорю.

Он перехватил мой взгляд, брошенный на костыли, и промолвил тихо, словно конфузясь:

— Не-е... Я не с войны! Не бывал на войне-то.

Потом вдруг спросил:

— Никого там из деревенских не встречал?

— Кого встретишь: взрослым не до грибов-ягод, ребятишек не пускают — далеко...

— Березы там, говоришь, большие?

— Большие.

— Угу. А ведь до остатней были вырублены, точно говорю. — Светлые прозрачные глаза дяди Феди кротко помаргивали. — Идет время. Больших берез там вовсе не оставалось, новые, знать, выросли. Белые, говоришь?

— Белые, дядя Федя.

— Высокие?

— Деревья как деревья.

— Не скажи! — воскликнул он. — Березка для войны — первое дерево. И-их, как мы их рубили! Думалось, переведутся березы вовсе. Военное дерево, самое, брат, самое! Рубили мы березы, одни березы, специальные были делянки. А прозвал ту посеку Кошкиной горкой мой де-

душка Евлампий Иванович Драчев. По-уличному — Лапа. Евлампий — Лапа. Догадываешься?

В войну скоро наш дом осиротел. Помню, ячень жали, когда нарочный из сельсовета верхом привез повестки: «Мужики, на сборы сутки сроку!» От тяти после всего одна весточка была, одно письмецо треугольником. И то с дороги. Написал, что в Вологде в баню сводили и выдали обмундирование. О сабле — ни слова... Мы-то с Ваньчиком, братишкой моим младшим, как ждали! Думали, непременно тятя получит саблю, сапоги со шпорами, бурку, как у Чапая, и на карточку сыметя вместе с конем.

Не было карточки, письмишко в пять строк — и все.

По колхозу бабы, старики, детвора... Война! Окна в избах было велено оклеить полосками бумаги, бои приближались к границе области. А озимые сеять срок поспел и зябь надо пахать.

Мама пересела на отцовский трактор. Сутками дома она не бывала. Проснешься ночью: урчит на Митином поле трактор. Дождь ли, темень ли кромешная, — урчит.

И однажды умолк перед светом...

Под плугом мамку нашли: видно, задремалась ей, свалилась с сиденья да под лемеха!

Так-то, брат, так-то было...

А лес, видишь, у нас... У нас две заповеди были: летняя — хлеб, зимняя — лес.

Дедко Лапа славился: работающий, безотказный. Ему доверили военное задание. Без березки, брат, скажу тебе, пуля не стреляет. У винтовки, брат, штык стальной, а приклад... Приклад-то из чего? Ложа оружия из его? Делянку деду отвели: помогай фронту, руби березы.

Старый Лапа в лес, малые Лапенки — за ним. Путь, сам знаешь, не близкий. Бывало, в деревне по избам ни огонька, мы уж на ногах. Метет поземка, провода гудят. Гудят, стонут провода, ворожат вести тяжкие, недобрые. Чего уж тут доброго — враг под Москвой...

Березки мы роняли на выбор. Самолучшие. Чтоб ни сучка, ни задоринки, древесина без порока. Дед орудует лучковой пилой, я с младшим братишкой Ваньчиком — пилой-дровяной. Перепотеем, упаримся. Дед похваливает: «Лапенки — порода таковская, на работе не забнут!»

Должно быть, с поту старого прохватило, слег в простуде. Тут уж мы вдвоем с Ваньчиком в лес тропу топчем. Поди, по сей день тропа заметна? Не заросла, а?..

Однажды являемся: на-ко, у кострищ-то наброжено! Зверь... Ой, и зверь: лапы по чайному блюдцу. Я думал, Ваньчик не увидит, а он раньше меня разглядел. Как крикнет не своим голосом:

— Фе-едь, лапы-ы!

Я напустился на него:

— Понеси леший, Лапенок, где ишшо лапы?

А сам нет-нет и скошу глаза: верно, лапы — всем лапам лапы. Не совру, отпечатки следов по чайному блюду. Матерый зверь набродил по посеке. Обошел огнище, горелые сучья разгреб и лег на золу. Повалаясь, бока измарал в пепле, убред в лес через суметы.

Зола теплая, не остыла. Ведь заполночь костер горел. Со спичками, надо сказать, обстояло трудно. В лавке не купишь. Огонь добывали кресалом. Приходилось с вечера оставлять на делянке большое огнище, чтобы утром от его углей разжигать другие костры. В делянке полагалось сжигать сучья, порубочные остатки — таков порядок.

— Медведь... медведь! — с перепугу Ваньчик сипит, горло у малого перехватило.

Мне, что ли, не боязно?

Браню его:

— Понеси леший, какой ишшо медведь? Медведь в берлоге, лапу сосет.

— А это кто был?

Почем мне знать, кто, и я, как старший, Ваньчика одергиваю:

— Хто... Иван-Пехто, вот хто! Разводи огонь, пеки картоху!

Дело прошлое, худенько нам работалось. Дерево на ветру качнется, заскрипит — озираемся, по спине мурашки. Клест уронит шишку — вздрагиваем, глаза по луковиче.

Виду, однако, не показываем, хорохоримся, для веселья частухи-нескладухи поем. Я зачинаю:

Сидит заяц на березе,  
Ломом подпоясался.

Ваньчик подхватывает:

Ну, кому какое дело,  
Может, он медведя ждет?

Нам оглянуться недосуг: в лесу работаем, а вроде и не видим леса. Что и радости, как береза попадется, гожая, чтобы уронить ее наземь — пускай фронту послужит лесная краса-баса!

Тропку мы с Ваньчиком первыми топтали.

А там, нам в подмогу, другие ребятишки нашей тропкой стали похаживать.

Разве одна нашенская изба кормильца лишилась? Шли, брат, в деревню похоронки-то... М-м, густо шли!

Через ночь да каждую ночь зверь бродил по делянке, на золе лежал, бока и лапы марал пеплом.

Привыкли уж: он нас не трогает и мы его знать не знаем.

Тут и дед поправился.

Терпенья не хватило, по дороге мы ему выложили, какой на делянке гость гостит. Не зван, не прошен, лапы по блюду. Всем лапам лапы!

Дедушка в лице изменился:

— Отчаянные, Лапенки отпетые, ай не боялись?

Я ему:

— Топоры на что? Небось, отбились бы.

А Ваньчик:

— Кто же ходит-то к нам, дедушка?

Повеселел дедко:

— Догадайтесь! Я вам загадку загану, вы сами догадайтесь! Ну-ка, что такое: «Мамка толста, дочка красна, сын синь, под небеса ушел»?

Для деда мы, понятно, дети малые. Эх, седая Лапа, тебе бы загадать загадочку! Ответь-ка, седой баюн, кто до свету встает, впотьмах в лес идет — шубейки рваные, шапки прожженные? Мороз не мороз, вьюга не вьюга... Кто? Рассы-решеньки, в снегу по пояс, сыты ли, голодны, — кто лесины валит? Кто на кряжи пилит? Была березонька, станет ружье... Кто?

— Печка топится — эт-то мамка толстая! — смеется дедушка. — Дочка красна — огонь, сын синь — дым. Ну-ка, внучата, новая загадка: «Четыре топырки, две ростопырки, один вертун да два яхонта на каменной горе почивают, на княгиню Подполею силы копят».

Вот-вот, дедко, как раз те у нас думки, что у княгини хвост-вертун!

Ваньчик, он ведь помладше, и говорит:

— Деда, ежели рысь? Рысь на кострища, как кошка на печку, греться ходит!

— Ясно дело, рысь, кошка лесная. У рыси повадки кошачьи, ишь, выбрала себе печку. Ишь, где нашла, супостатка, горку!

С легкой руки деда присохло к делянкам новое название. Бывало, по утрам будит нас: «Подымайся, внуки, Кошкина горка ждет!»

Дядя Федя умолк. Взялся скручивать цигарку.

— Не бывал я на войне, годы не подошли. Ничего такого не пережил, не довелось. Другие, вон, «тигров» били, танки эти самые, а у меня что? Рысь на кострище! Рассказывать даже неловко.

Он поднял на меня глаза:

— Опять, говоришь, березы там большие? Сбродить бы потихоньку, поглядеть...

Большие, Федор, березы. На Кошкиной горке — чудные, прекрасные березы: высокие, статные, в бело-белой коре.

Подросли березы. Можешь не ходить на костылях, дядя Федя, в даль лесную, точно тебе говорю: большие стали березы.



## Рукописный фолиант

В Республиканской государственной публичной библиотеке имени А. Навои в Ташкенте хранится эта редкостная рукописная книга.

На 614 листах крупного формата изложены исторические документы, охватывающие время, примерно, с середины 90-х годов XVII века до 1714 года.

Здесь находятся копии реляций о походах и военных действиях русских войск, сведения о потерях неприятеля и количестве

пленных, о трофейных знаменах и пушках, дипломатические документы.

В ташкентской рукописи не только деловые документы, но и торжественные стихи, историко-литературные произведения, произведения житийной литературы, афоризмы и многое другое.

Как и где сложился данный рукописный сборник, у кого он хранился два с половиной столетия — сказать сейчас трудно.

Детальным исследованием рукописного сборника ташкентской библиотеки займутся историки и литературоведы. Вполне возможно, что сборник хранит на своих листах еще неизвестные науке материалы.



## Свист над цветами

Любители комнатного цветоводства, ухаживая за своими питомцами, часто разговаривают с ними, считая, что растения от этого лучше развиваются.

Гейлорд Хейгсит из университета штата Северная Каролина (США) исследовал влияние звука на скорость прорастания семян репы и пришел к выводу, что рядом с растением лучше молчать.

Возле генератора шума семена проросли медленнее, чем те, которые находились в звукоизоляции. Но быстрее всех проросли семена третьей группы в помещении, где работал генератор звуков чистых тонов.

Исследователь не дает объяснения этим явлениям. Возможно, что звуковые генераторы и не появятся на сельскохозяйственных плантациях. Но тем, кто увлекается комнатными растениями, можно посоветовать: не разговаривайте с ними, а насвистывайте им!

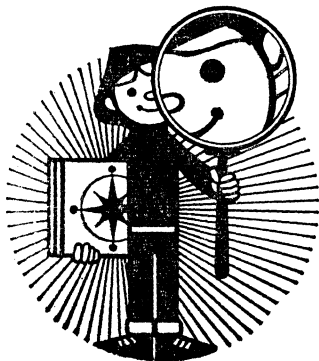
## Соляная провинция

В 1672 году в Москве был отпечатан «Чертеж Сибирские Земли» с приложением пояснений, в которых, между прочим, приводились сведения о соляных месторождениях в Якутии. На карте чертежа, где показана речка Кемпендяй, стояла надпись: «Соль варят».

Первым соляной источник обнаружил сын боярский Воин Шахов в 1640 году и добыл здесь по указу тобольского воеводы 100 пудов соли. С тех пор на Кемпендяе стали брать самосадную соль и развозить ее по всему обширному краю. Однако большого размаха добыча соли на Кемпендяе не получила из-за транспортных затруднений.

В наше время геологи открыли в междуречье Лены и Вилюя огромную соляную провинцию — миллиарды тонн драгоценного сырья.

Возможно, после постройки Байкало-Амурской магистрали олекминская соль получит «путевку в жизнь» — будут построены химические заводы, а пищевая соль пойдет на рыбные промыслы Тихого океана.



МИР

НА ЛАДОНИ

## Приходится менять привычки

Длиннохвостый попугай-монах, пожалуй, самый красивый из 60 видов этих птиц, которых ввозят в США из Южной Америки. А зоологи считают его и самым крикливым из всех своих собратьев. Редко у кого хватает терпения больше, чем неделю выносить этого крикуна.

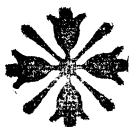
Любители комнатных птиц обычно в первые дни знакомства выгоняют попугаев-монахов из дома.

Бездомным птицам ничего не остается, как акклиматизироваться на новом месте жительства. Сейчас их встречают от Алабамы и Техаса на юге США до Висконсина на севере страны. Правда, в северном полушарии им пришлось отказаться от некоторых своих привычек. Если на родине они откладывали яйца в ноябре, то здесь они вскоре начали это делать в конце апреля — начале мая.

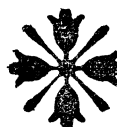
## Путешествие на лошадях

В лесопарковой зоне столицы Башкирии Уфы построен городок туристов на 450 человек. Здесь берут начало многие интересные маршруты. Туристов привлекают места, связанные с пребыванием в Башкирии В. И. Ленина. С историей края неразрывны имена Чапаева, Фрунзе, Блюхера, здесь действовали в прошлом отряды Пугачева и Салавата Юлаева. В туристский маршрут включены также Бурзянский заповедник, знаменитая Капова пещера.

Сюрпризом для любителей путешествий по Башкирии будет конный маршрут, который проложен в горах Южного Урала.



## Только бурные аплодисменты...



Оратор не укладывается в регламент. Уже давно встал председатель собрания, недовольно гудит зрительный зал. А несчастный, вцепившись в трибуну, никак не может прицалить свою мысль в спасительную гавань последней фразы...

На состоявшемся в Лондоне международном конгрессе по проблемам акустики была применена автоматизированная система ведения заседаний. За пять минут до окончания ответного регламента в зале раздается предупредительный звонок. Когда же

истекали и эти пять минут, звучащий в динамике голос оратора тонул в громе предварительно записанных на магнитофонную пленку аплодисментов. Бурная овация немедленно прекращалась, как только оратор покидал трибуну...



## Тажный скульптор

Своеобразную художественную летопись Ханты-Мансийского национального округа создал резчик по дереву Петр Шешкин. Одни его произведения — «Рыбак, разделяющий осетра», «Пастух, укрощающий оленя» — как бы отражают прошлое края, другие — «Топографы», «Разведчики недр в походе» — показывают, чем живут манси сегодня.

Резьба по дереву — не единственное увлечение потомственного охотника и рыбака Петра Шешкина. Он владеет кистью и пером. Его скульптуры и полотна экспонировались в Москве, Ленинграде, Тюмени и в других городах страны.

## На вечной мерзлоте

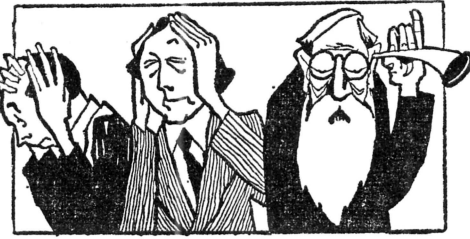
Свои первые шаги по вечной мерзлоте на берегу якутской реки Куранах сделал первый на Крайнем Севере страны шагающий экскаватор Ново-Краматорского машиностроительного завода.

Машина-исполнин, с 70-метровой стрелой и 10-кубовым ковшом, расчищает полигон для драги. Экскаватор будет использован также на отсыпке дамб хвостохранилища Куранахской золотоизвлекательной фабрики.

Стальной геркулес отправился в путь по золотой долине со скоростью 200 метров в час, делая чуть ли не двухметровые шаги.

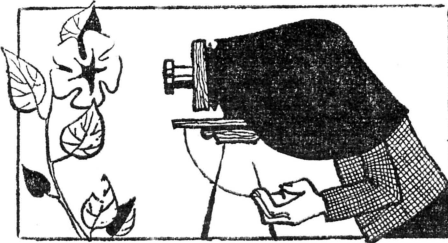


## Спой мне песню...



Петь труднее, чем говорить, но и в этом «виде спорта» есть свои чемпионы. Тридцатилетний бельгийский почтальон Жан Саблон пел непрерывно 6 часов 40 минут. Его репертуар состоял из 150 песен. Во время прослушивания этого концерта несколько раз заменяли жюри: ни один человек не мог выдержать всю программу до конца.

## Да здравствует хобби!

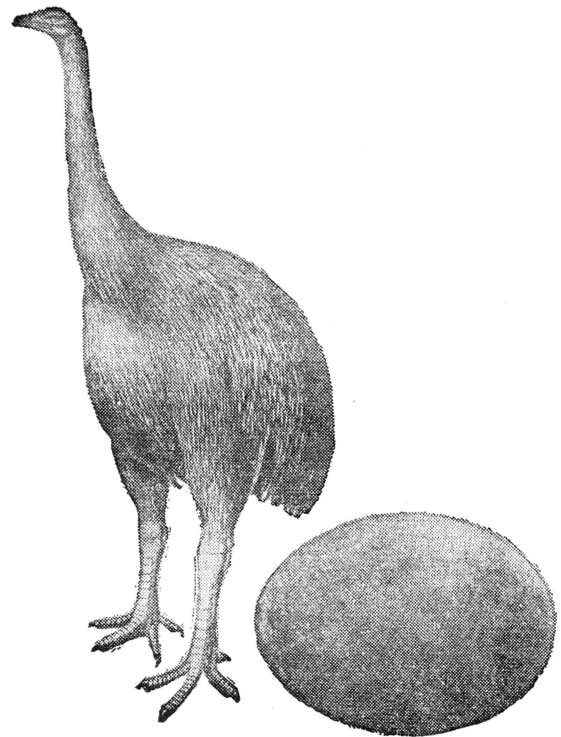


Многие знаменитые люди прославились и своими увлечениями. Так, Д. И. Менделеев делал отменные чемоданы, К. А. Тимирязев был талантливым фотографом, известный летчик Ю. В. Овчинников собственноручно изготовил более 150 моделей самолетов, а выдающийся русский металлург Д. К. Чернов был великолепным мастером скрипок.

## Сколько людей играет в футбол?



Этим вопросом заинтересовалась Всемирная федерация футбола (ФИФА). Специальная комиссия установила: в ФИФА входит 140 федераций футбола из различных стран, они объединяют 272 459 футбольных клубов, 555 085 футбольных команд и, наконец, 17 840 288 футболистов.



## Птица-великан

Высота этой птицы три с половиной метра. Ее яйцо в тридцать раз больше куриного.

Ученые считают, что трагическая гибель этой удивительной птицы связана с появлением первых людей на острове Новая Зеландия. Сравнительно недолго хозяйничали на острове полинезийцы, но они успели полностью истребить гигантских птиц, которые не умели летать и были легкой добычей для людей. Пришедшие сюда первые европейцы нашли лишь скелеты да скорлупу яиц пернатых гигантов.

На снимке: птица-великан, облик ее восстановлен по частям найденного скелета.



## Ключи от города

В 1967 году, когда Свердловск уже начал готовиться к 250-летию юбилею, был отлит первый образец ключа от города. Бронзовый, весом более пяти килограммов, он предстал перед членами комиссии и... был забракован. Не та символика на нем, на бородке лишь одна дата — основания Екатеринбурга, а вторую дату — юбилейную — забыли. В общем, пришлось чертить новый эскиз, делать новую форму для отливки.

К юбилею ключ был сделан. Сейчас он хранится, как и положено, в кабинете председателя исполкома Свердловского горсовета. Были изготовлены малые — сувенирные — копии этого ключа от города Свердловска.

Недавно в Серове местный краевед Н. А. Котельников нашел в груде металлолома тот первый ключ. Необработанный, уже почерневший за восемь лет, он теперь представляет только музейную ценность.

На снимке: ключи от Свердловска — первый образец и настоящий, хранящийся в горисполкоме.

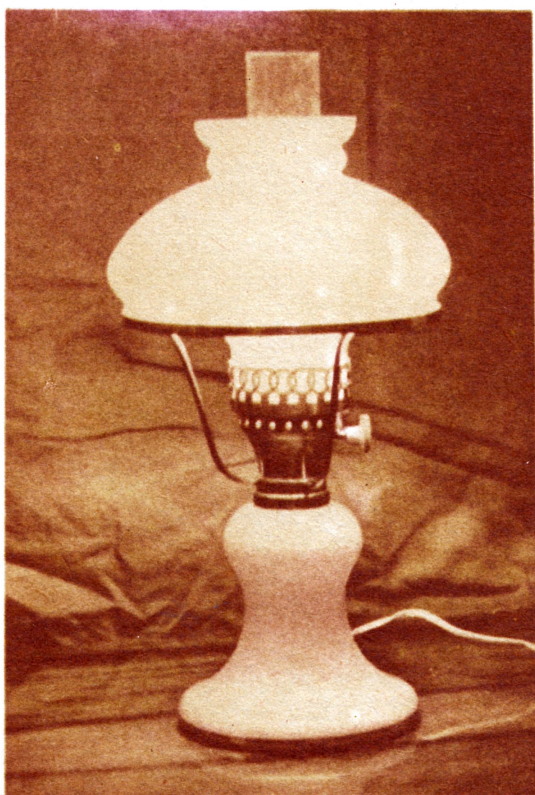


## Гвойе из племени валибри

В 1952 году австралийское почтовое ведомство выпустило эту марку. Под портретом коренного жителя континента стоит подпись — «Абориген».

Абориген, вдруг ставший известным всему миру, — не человек без роду и без племени. Это — Гвойе Янгурей из племени валибри. За согласие позировать художнику Гвойе был выплачен гонорар — один австралийский фунт стерлингов.

Чиновники и дельцы, запасаясь конвертами и штемпельными подушечками, зачастили в резервацию. Гвойе охотно штемпелевал конверты, прикладывая к ним палец — он, конечно же, был безграмотным. Гашенные таким образом конверты стоили



## Светильник с тиристором

Свердловский машиностроительный завод имени М. И. Калинина начал выпускать оригинальный настольный электрический светильник. С виду он как старинная керосиновая лампа. Светит с разной силой, — по необходимости. Может во всю мощь — ярче бывшей десятилетней лампы. Может и едва теплиться, как ночник. Количество света регулируется сложным полупроводниковым тиристорным устройством.

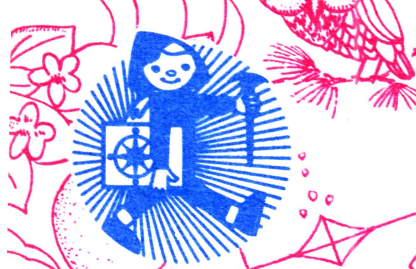
Фото Н. Морозова.



баснословно дорого. Но Гвойе, каждый раз отштемпелевав гостю кучу конвертов, просил за труд свой неизменный фунт. За это его прозвали еще «однофунтовым Джимми».

Гвойе Янгурей стал знаменитым человеком. Ему предложили покинуть резервацию и поселиться в любом городе страны. Но он гордо отклонил эти предложения и остался с племенем. Когда он умер и где похоронен — неизвестно.

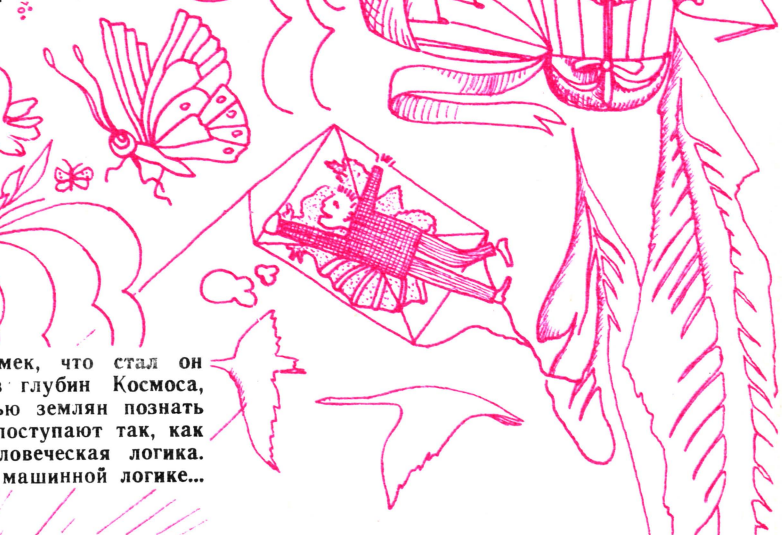




«Я страстно люблю фантастику и выписываю все журналы, в которых она печатается», — пишет нам А. Иванов из Тюменской области. Поблагодарив «Уральский следопыт» за большое внимание к фантастике и одновременно высказав сомнение: «может быть, это только нынче так!» — он спрашивает: чем порадует его журнал в следующем году? Что ж, вопрос оправданный, и мы по давней традиции заблаговременно отвечаем на него. И так, — «Фантастика-76». Она занимает немалое место в плане публикаций «Уральского следопыта».


...Артем распахнул входную дверь, вылетел на лестничную площадку своего девятого этажа и... увидел вокруг себя серебряный сумеречный сад. Посреди сада, замороженного пепельным мерцающим полусветом и особенной, клейкой тишиной, возвышался крошечный диснеевский домик. Артем тихо, чуть ли не на цыпочках, пошел вокруг него, все время плечом и ладонью касаясь шершавой стены. За углом показались окна. Его окна. Справа кухонное, с перышками зеленого лука на подоконнике там, внутри, а затем комнатное, сдвоенное с балконной дверью. Балкон лежал прямо на земле...

Герою повести Ольги Ларионовой еще невдомек, что стал он объектом неслыханного эксперимента. Пришельцы из глубин Космоса, всемогущие и почти бессмертные, пытаются с помощью землян познать причины собственного морального оскудения. Но они поступают так, как диктует им их лишенная эмоций, рассудочная, нечеловеческая логика. Артем, наш молодой современник, объявляет бой этой машинной логике...



Действие новой повести Геннадия Прашкевича «Фальшивый подвиг» всецело разворачивается на Земле. Ее «герой» уже знаком нашим постоянным подписчикам — это Эл Миллер, тот самый промышленный шпион, который, угнав загадочную «машину Парка», оказался... в юрском периоде (см. об этом № 9 нашего журнала за 1974 год).

На этот раз Миллер охотится за не менее загадочным Экспертом — человеком, способным решать творческие задачи, даже когда метод их решения неизвестен, способным ставить неочевидные проблемы, способным предсказать будущее состояние исследуемого объекта... А за головокружительными приключениями Миллера отчетливо вырисовывается не исключенная для западного мира опасность: с реализацией замыслов Эксперта в голом, начиненном подслушивающей и подглядывающей аппаратурой мире людям остается право лишь на самые тривиальные истины...



В редакционном портфеле находятся также новые повести и рассказы Павла Амнуэля, Дмитрия Биленикина, Виктора Колупаева, Михаила Немченко, Александра Шалимова и других фантастов, в том числе и молодых, еще не известных широким читательским кругам.

И еще одно. В 1975 году на страницах журнала появился фантастический «Калейдоскоп». Читатель встретит эту рубрику и в дальнейшем: мы будем рассказывать о сбывшихся и несбывшихся прогнозах писателей-фантастов, давать разнообразную информацию об этой отрасли литературы, отвечать на вопросы. Надеемся, что подписчики своими замечаниями и предложениями помогут нам сделать «Калейдоскоп» еще разнообразнее и интереснее.

# Читайте в 1976 году

НАПОМИНАЕМ ЧИТАТЕЛЯМ, ЧТО В РОЗНИЧНУЮ ПРОДАЖУ НАШ ЖУРНАЛ ПОЧТИ НЕ ПОСТУПАЕТ. ПОДПИСКА НА НЕГО ВЕДЕТСЯ ПОВСЕМЕСТНО. ОДНАКО ЛУЧШЕ ОФОРМИТЬ ЕЕ РАНЬШЕ, ЧТОБЫ ГАРАНТИРОВАТЬ ПОЛУЧЕНИЕ ЖУРНАЛА

НАШ ИНДЕКС В КАТАЛОГЕ «СОЮЗПЕЧАТИ» — 73413.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА ГОД — 3 РУБ. 60 КОП.

